ДИМИТР КИРКОВ

ББ

ПРОКЛЯТАЯ ЗЕМЛЯ

ДИМИТР КИРКОВ

ПРОКЛЯТАЯ ЗЕМЛЯ

ДИМИТР КИРКОВ

ПРОКЛЯТАЯ ЗЕМЛЯ

СОФИЯ ПРЕСС
1989

Теперь на холме дома уже не те: разрушенные до основания и возведенные вновь, они стали прочнее, чем раньше, в своей первой молодости, и выглядят наряднее, чем могли бы себе представить их первые строители и хозяева. А тогда дома здесь стояли обветшалые, с осыпавшейся штукатуркой, потрескавшимися эркерами и дырявыми крышами, убогими следами починки и переделок; они продолжали рушиться, многие постепенно уходили все глубже в землю, по ночам звенели стекла, ломавшиеся в коробящихся рамах, трубы забивались гнутой турецкой черепицей и пылью, в течение многих лет оседавшей после осенних бурь. Зимой их обитатели выводили дымоотводы прямо через узкие оконца, забитые кусками жести, а более ленивые просто пробивали стены, и тогда из них торчали короткие глиняные печные трубы. Они слезились черным дегтем, словно дома оплакивали свою старость, терпкий его душок разливался по развороченным улочкам, пропитывал стены, и никто в то время не поверил бы, что этот, казалось бы неистребимый, с незапамятных времен царивший в старом городе запах будет вытеснен изысканными ароматами дорогих духов, аппетитным дымком жареного мяса и смрадом отработанных газов.

Короткими зимами над холмом витал запах дегтя. А с приходом весны выбуявшие сорняки заполняли все пространство между византийскими кирпичами, по которым мы ходили, потому что старые дома, по сути дела, возводились на развалинах еще более старых домов и храмов, чей облик не раз перекраивался при более позд-

нем строительстве. А еще глубже в земле покоились огромные мраморные глыбы – остатки древних руин. Пройдут годы, многие покинут старые дома, и многие новые жители заселят их, археологи примутся за раскопки, начнут ковыряться в живой плоти холма, прежде чем будет обнаружен римский амфитеатр – на удивление старожилам, полагавшим, что уж им-то доподлинно известно, что находится у них под ногами.

Даже в самую большую жару в глубоких подвалах старых домов стояла прохлада, они как корни впивались в омертвевшие останки лежащих под ними человеческих дел, в многочисленные пласты из усилий, созидания и разрушений, жавшиеся друг к другу и в то же время существующие настолько отдельно, одиноко, что постепенно даже земля поменяла свой цвет.

Кое-где уцелели только эти корни, ибо время разметало крыши, продырявило полы, разъело стены, лишь изредка какая-то из них одиноко высилась в густой листве будто исключительно для того, чтобы служить опорой для тяжелого кружева ломоноса и темнозеленого плюща. Чуть поодаль, на завалинках, росли заросли бузины, в их тени, пропитанной горечью и соленой одурью, крапива пыталась одолеть повилику, раскинувшую свои желтые сети. Кусты и бурьян подкрадывались к еще незахваченным участкам, быстро оккупируя вымощенные плитами дворы и заглядывая в проломы окон, затыкали дыры в прогнивших оградах и зорко следили за тем, куда еще откроют им дорогу люди и запустение. Из зарослей куколя и паслена тянулись к солнцу головки коварных репейников, выбравшихся из-под останков рухнувших подпорок, вползала на сливы виноградная лоза, украшая их гроздьями несъедобных ягод, дикие гвоздики боролись с объятиями гадючьего лука и зверобоя.

По весне дома подвергались осаде зелени и цветов: молодые напористые растения словно издевались над тлением, которое они застали на этом свете, но вскоре и они увядали, опаленные южным солнцем; и у порога смерти и то, что было сделано руками человеческими, и то, чему дала жизнь природа, незаметно уравнивалось в своих правах.

Смешение развалин, построек и народностей замечалось и среди растений. Душными летними днями над дворами и пустырями повисал густой жаркий дух вянущей травы и листвы, изредка прорезаемый скорбным ароматом самшита, наливались сладким соком плоды, время от времени слышался разноязычный говор, где-то тяжело ухали искривленные двери, кто-то кричал вслед неугомонному шалуну, дробно стучали молотки каменотесов, потому что древний холм продолжал давать им скудное пропитание, а растущему городу – булыжники для мостовых.

С его плоской вершины было видно, как в широком русле пересохшей реки грузятся песком телеги, под деревянным мостом играют блики на тонкой поверхности стоячей воды, со стороны рынка, где торговали скотом, доносилось приглушенное мычание буйволов. Западный склон холма был крутым, там, среди густо поросших кустарником утесов, вилась узкая лесенка, редкие домики, жавшиеся друг к другу и подпертые для устойчивости толстыми бревнами, одним оком косились прямо в пропасть, терпеливо дожидавшуюся, когда они рухнут в ее объятия.

К югу и северу синели горы, город разбухал и разрастался во всех направлениях, улицы переломлялись в центре и выпрямлялись к окраинам; большому городу было тесно там, внизу, его распирало, он рвался к простору и высоте, но еще не решался вскарабкаться

на холм, проглотить и переварить жалкие останки прошлого.

Перед его напором не устояли бы несколько сохранившихся полудужий крепостных стен, строившихся в разные эпохи, но разделившие общую участь. Проходя мимо них и пересекая заброшенные дворы, путник попадал прямо в затейливое переплетение улочек и должен был запастись вниманием и терпением, чтобы попасть туда, куда ему нужно.

Еще была жива, но уже догорала первородная красота старинных домов. Разноцветная штукатурка их выбелилась, резные потолки комнат давно почернели от копоти и сажи, многоярусные эркеры, которыми дома почти соприкасались, образуя над улицей как бы арку, словно поддерживали их в старости. И только в сумерках или лунными осенними ночами их силуэты преображались, и в полумраке проступала изящная их легкость, широкие стрехи казались распростертыми в полете крыльями, бесчисленные оконца, способные уловить каждый лучик света, смотрели с печалью, но и с надеждой.

Дома уходили из жизни медленно – тогда нам казалось, что они лягут на те же пласты, что совсем недавно служили им опорой, и станут еще одним слоем, спресовавшим времена и пространства, поскольку прибитые кое-где таблички с надписью „Памятник старины“ в ту пору еще не обещали продолжения жизни. Вот и теперь, когда я смотрю на самые большие и некогда полные домочадцев дома, их отреставрированная красота чем-то смущает меня, я еще острее ощущаю тление и всю обманчивость его преодоления, ибо не слышу в их дворах детского гвалта, перебранки или радостных возгласов соседей, не чувствую запаха подлинной жизни, скромного обеда или стирки, дымка сжигаемой сорной травы, махорки или анисовой водки.

Теперь оттуда доносятся другие звуки, другие ароматы. Обитателям старых домов и в голову не могло прийти, что когда-то в их дворах зачадят электрические жаровни, в просторных кухнях задребезжат ресторанные холодильники, на некогда шатких галереях загремят оркестры и ненасытный на развлечения люд будет топтаться на деревянных ступенях лестниц, толпиться в комнатах и коридорах, выбирать укромные столики.

Пусть мне простится моя пристрастность!

Может, так оно и лучше, может, старым обителям стало легче от того, что пороги их, выложенные плиткой коридоры и деревянные полы перестали топтать сотни неосторожных ног, может, они рады отдохнуть от яростных распрей, признаний в любви, рева младенцев, может, прав тот поэт, сказавший, что холм этот нужно накрыть прозрачным колпаком с надписью „Музей", но, похоже, говоря о музее, он забыл упомянуть, что под любым колпаком, даже прозрачным, глохнут звуки, стынет кровь, бледность покрывает лица, выступающий на лбу от трудов и волнений пот высыхает, не оставляя следа, и жизнь постепенно гаснет.

А в те дни холм жил вместе с нами, хотя вряд ли он был милосерднее к новорожденным, чем к мертвецам. Надо всем высился христианский храм, столетие назад возведенный на обломках стоявшего здесь молитвенного дома дервишей, некогда подмявшего под себя древнюю православную церковь, воздвигнутую на развалинах римского святилища, покоившегося, в свою очередь, на фундаменте древнего языческого капища. Еще ниже был только мертвый камень.

Сменяли друг друга и перемешивались эпохи и люди, отдельные старинные постройки были украшены потемневшими от времени бронзовыми пластинками,

сообщавшими о знаменательных событиях, происходивших на этой земле, легенды и смутные воспоминания о старине возвещали о себе зримыми, ясными знаками. На вершине отвесной скалы, прямо на краю пропасти, были выдолблены два сидения, и даже местные пацаны знали, что оттуда наблюдали за учениями своей армии юный Александр и его могущественный отец. Кто мог ответить, откуда снизошло на нас это знание, если никто из нас никогда слыхом не слыхивал о древних рукописях, где упоминалось об этом, а уж тем более к ним не прикасался? Или оно передавалось вместе с потоком крови из поколения в поколение, хотя как знать, не прервалась ли уже та кровная связь, что тянулась к нам из древнего прошлого? А может, предание оказалось сильнее непостоянства нравов, изменчивости убеждений, легкости кровопролитий, и зерно его прорастало в чужих душах и в чужих языках?

Земные напластования холма были подобны страницам огромной каменной книги, открытой для всех, но мог ли кто-нибудь перелистать эти страницы и расшифровать письмена, тысячелетиями чертавшиеся духом истории и историей духа?

Уверенный в своем прошлом, холм невозмутимо взирал на нашу жизнь, превращая ее в мимолетное мгновение собственной жизни. И незаметно для нас прошлое всасывалось нашими венами, и прежде чем старая, потемневшая капля крови сливалась с каплями крови нашей, бурной и жаждущей деятельности, она успевала прошептать им свои тайны, поведать о своих грехах и несбывшихся мечтах, она завораживала и будоражила их, навсегда лишая покоя своими воспоминаниями и соблазнами.

Кровосмешение это потрясало не сразу. Неощутимое вначале, оно стирало внешние различия, рассто-

яние между веками, между религиями и народами, и за всем этим кипели общие для всех страсти. Это кровосмешение заставляло нас идти по краю отвесной пропасти, и, умудряясь сохранять равновесие, мы обращали свои взоры к мирам, которые никогда не соприкасались, которые ничего не знали друг о друге, приоткрываясь нам вместе со своей жестокостью или чрезмерной сентиментальностью, расцветом или упадком, буйством духа или мечтательностью, и мы торопились сделать следующий шаг, ибо верили, что это наш выбор. Холм служил для нас крепостью, которая была способна защитить нас от всех невзгод хотя бы тем, что накроет толщей земли, но нам казалось, что крепость эта сообщается с самим небом. Так холм приобретал над нами таинственную власть, но нужно было прожить на нем много лет, чтобы почувствовать свою зависимость от того, что покоилось внизу, и от того, что было вокруг.

Под нашими ногами лежал фантастический мир, а наверху, под солнцем, царило менее фантастичное смешение растительности, построек и людей.

Если бы кому-то вздумалось взглянуть на холм издалека и с высоты, перед ним предстала бы привольно раскинувшаяся низина с высившейся среди нее громадой сиенитного утеса, он увидел бы, как перемешиваются и наползают друг на друга геологические пласты, между возникновением которых пролегли миллионы лет. Будто еще в доисторические времена сами недра решили сделать это нагромождение земли и камня местом смешения и первыми соединили несоединимое.

Сама история водрузила его на древней земле старого континента, в центре того благословенного и обагренного кровью уголка колыбели рода человеческого, откуда с незапамятных времен тянулись тропы, проложенные племенами, идеями и войнами.

Расположенный в самом сердце Балкан, несколько южнее разделяющей их горной цепи, холм этот был целью и прибежищем враждующих народов, которые, вступая в схватки и истребляя друг друга, перемешивались, чтобы уступить место другим и сохранить преемственность племен и их смешение. Тысячелетиями он искушал захватчиков и хоронил их честолюбивые замыслы у своего подножия, давая убежище новым надеждам, которые незаметно вырождались в отчаяние и цинизм, познал тиранию и свободу, аскетизм и распутство, веру и богохульство.

История поставила холм на перекрестке людских потоков и мыслей, чтобы овеять бурями и наполнить переселенцами с Востока и Запада, с Севера и Юга, чтобы зазвучал на нем разноязыкий радостный гомон и понеслись такие одинаковые на всех языках вопли отчаяния и боли, чтобы из лона его выходили различные постройки и здесь же находили последний приют их одинаково тленные останки.

Время вобрало в себя разные пространства, переплавив в одном пространстве разные времена. Приходивший на холм оставлял здесь частицу себя, и если то были не его собственные кости, он непременно уносил с собой и нечто, обретенное здесь.

С высоты птичьего полета холм напоминал корабль под зелеными парусами, несущийся по равнодушному морю времени. Все могло случиться с ним точно так же, как случалось в те дни и с нами, хотя мы были всего лишь временным его экипажем, простыми смертными с недолгой жизнью и ранимыми сердцами, умы наши часто волновали пустяки, а радости и печали лежали на самой поверхности бытия. Маленькими черными буковками ползли мы по каменной книге холма, и было еще неизвестно, сумеет ли кто с расстояния времени

разглядеть нас даже как незаметный знак на ее странице. Чем мы останемся: только ли запятой – коротким вздохом между двумя периодами, символом безвременья, передышкой для ума и слова или точкой, завершающей нечто продолжительное и важное и не подозревающей о том, что начнется после нее? Или немым вопросом? Или восклицанием? Или просто какой-то черточкой? Или загадочным иероглифом, до тайны которого никому нет никакого дела?

Над холмом, над старыми его домами, над руинами и людьми висело безразличное пронзительно-синее южное небо. Оно словно казалось выше здесь, а мы копошились где-то внизу, барахтаясь между жизнью и смертью, и страх перед быстротечностью своего пребывания в мире почти не оставлял нам времени на то, чтобы думать о вечности. Но иногда мы видели, как страх выливался в стыд, а стыд пробуждал совесть. И еще – как из добра рождалось зло, а из ненависти – любовь. Как терпит поражение сила и побеждает слабость. Как из обиды вырастает гордость, а из униженного достоинства – самолюбие. И как только кто-то селился на холме, ему начинало казаться, что смешение обуревающих его душу чувств чем-то сродни смешению, царящему в месте его нового обитания.

Люди селились на холме и, каждый в свой срок, покидали его, часть старых домов была перенаселена, а те, что рушились, постепенно пустели, под отполированным миллионами ног булыжником покоились надежды и страсти, бушевавшие здесь тысячелетия назад, иногда они как будто прорывались сквозь толщу забвения, и не удивительно, если б кто-то услышал тоскливый вздох несбывшихся желаний, плач по загубленной жизни, разбитой любви, разобрал горделивые речения, произнесенные на мертвых теперь языках, вздрогнул

от внезапно донесшегося из-под земли рева многотысячной толпы. Где-то там, в глубине, еще разносилось эхо, скрипела зубами свергнутая и обиженная власть, витало мрачное дыхание мщения, дожидались своего часа скрытые во влажных трещинах страх и золото; основания домов вспучивало, словно кто-то пытался поднять их спиной, чтобы взглянуть на небо. Хотя тесные улочки на древнем холме ничем не освещались, по ночам над развалинами кружили искры недотлевших пожаров, некогда зажженных здесь недругами, и, споткнувшись в любом месте, можно было наткнуться на лежавшее рядом с ржавым гвоздем оплавленное стекло, обжигавшее руку, и мы не знали, накалилось ли оно под южным солнцем или еще не успело остыть от огня. Входя в подземелье, мы видели бегущие от нас тени, принадлежавшие то ли нам, то ли тем, чей покой мы потревожили своим вторжением, поскольку над могилами давно не было никаких знаков и мы не знали, на чьи кости наступают наши ноги. А костей там хватало. Когда где-нибудь начинали копать, лопаты выбрасывали их вместе с землей, и они падали к нашим ногам, смешивались далекие поколения и чужие люди, соединялось то, что жизнь не смогла соединить, но что соединила безразличная ко всему смерть.

Когда на окраине холма стали разрушать дома, археологи набрали добровольцев для раскопок. Рабочие и гимназисты, студенты и солдаты долбили неподатливую землю и через несколько дней углубились больше чем на метр. Но еще прорываясь через верхний пласт и основы старых построек, они обнаружили два скелета, переплетенных в объятиях. Между ними валялся изъеденный ржавчиной кинжал. Пока руководительница экспедиции заносила в блокнот схему расположения останков, какая-то девчушка с радостным писком

подобрала с земли серебряный предмет и принялась старательно очищать его от налипшей земли. Через час был обнаружен второй точно такой же предмет. Весь день возле археологов толпились любопытные, наблюдая за тем, как они тщательно, кисточками очищают каждую косточку. К вечеру скелеты были уложены в специальные ящики.

– Не типичный случай бытового погребения, – бросил молодой археолог, словно подводил итоги хорошо сделанной работы. – А кинжал и металлические предметы относятся скорее всего к XVI веку.

– Для датировки у нас нет достаточных данных, – ответила ему одна из девушек и вопросительно посмотрела на руководительницу, как будто ждала от нее подтверждения. – К какому пласту можно отнести эту находку, товарищ Гринова?

– Это несущественный эпизод в нашей работе, – ответила та. – Нам нужно углубиться на два тысячелетия, а это всего лишь эпидермис.

Помолчав и посмотрев на небо, она добавила:

– Если верить письменным источникам, форум должен быть под нашими ногами. Пуповина холма. Но... как бы дождя не было. Целый день потеряли.

Все трое подняли головы. Далеко на западе, затянутое перламутрово-розовыми кружевами тучек, клонилось к закату солнце, над холмом гасли в безветрии полохи, на мгновения озарявшие жемчужные гирлянды облаков, а на востоке небо готовилось облачиться в ночную рубашку.

I

Затянутое перламутрово-розовыми кружевами тучек, клонилось к закату солнце, над холмом гасли в

безветрии полохи, на мгновение озарявшие жемчужные гирлянды облаков, а на востоке небо готовилось облачиться в ночную рубашку. Стоя на площадке пятиугольной башни, воздвигнутой на краю вершины, Юсеф-паша окинул взглядом все то, что с прошлой ночи покорилось его деснице. Отсюда был виден весь холм – хребет его тянулся полумесяцем, один рог которого спускался прямо в реку. „Да, сам аллах пометил эту благословенную для правоверных землю“, – подумал Юсеф-паша, и в сердце его шевельнулась радость, что он узрел знак, предвещавший удачу и победу.

Эмир, служитель веры и толкователь ее законов, один из немногих избранных в империи, он с детства обнаружил в себе дар свыше – разгадывать божественные знаки, сулившие успех или невзгоды, и трепетно верил в него. То, что в столице считали его невероятной удачливостью, на самом деле было даром всевышнего, который Юсеф-паша обогатил внутренним зрением. Добром и злом распоряжался всевышний, но всевышний оставил ничтожных слуг своих действовать по своему усмотрению, хотя направление этих действий определял заранее, как предначертал заранее всё, что было, и всё, что будет. Поэтому он иногда посылал правоверным напутствующие знаки и возвышал отдельных своих слуг до их понимания, как возвысил Юсефа-пашу. И хотя Юсеф-паша был благодарен всевышнему за свое избранничество, за то, что сам аллах бдит над тем, чтоб он не сбился с предначертанного ему пути, как ни гордился своим умением разгадывать предзнаменования, он старался не переступить черты божественного знания, дабы не разгневать всевышнего своеволием. Видя очередной знак, он тут же начинал шептать слова смиренной молитвы, известные ему из сур священной книги, всецело предаваясь воле того,

от кого зависела его сила. И сейчас, всматриваясь в изогнутый полумесяцем холм и завершая день согласно закону и по велению сердца сделанному выбору, Юсеф-паша промолвил: „Хвала проницательности аллаха!“

Драгоценным был этот холм, но невежественные, бестолковые и грешные правоверные чуть было не упустили его из своих рук, повымирали здесь, от чего холм смогло захватить многочисленное стадо неверных. И дабы он не превратился в землю войны, Юсеф-паша прибыл в город на холме, чтобы вступить в войну не только с чужими, но и со своими.

Так понял он приказ, и так велела ему душа.

Столицу он покинул в сопровождении шестидесяти двух всадников, без гарема и без обоза. Когда вчера в сумерках они приблизились к городу и в неровном свете увидели темневшую впереди громаду холма, Давуд-ага, поровнявшись с его кобылой, предложил Юсефу-паше разбить стан на берегу реки, отдохнуть и смыть с себя дорожную пыль, а на рассвете со свежими силами и с благословения всевышнего захватить конак. Не торопясь с ответом, Юсеф-паша натянул поводья, и кобыла под ним встала.

– Сделаем остановку, чтобы привести себя в порядок и подкрепиться, – наконец промолвил он. – Ночь впереди длинная. И времени тебе хватит, Давуд-ага. – Паша просунул руку под накидку и, достав небольшую серебряную пластинку, протянул ее собеседнику. – Сними оружие, оставь только кинжал! Разыщешь начальника войска сердара Элхаджа Йомера, покажешь ему это, – паша вскинул руку, – и скажешь: „Юсеф-паша пожаловал в гости... Шума не поднимать“. Встретите нас на той стороне.

Как всегда, Давуд-ага точно исполнил его приказ. Из темноты вынырнули трое – начальник отряда яны-

чар Элхадж Йомер явился на встречу в сопровождении телохранителя.

– Священный фирман, – вместо приветствия сказал Юсеф-паша, протянув вперед руку с зажатым в ней свитком.

Сердар молча склонился, словно намеревался почтительно прижаться челом к свитку, но Юсеф-паша быстро отдернул руку, и приказ исчез в складках его одежды.

Через несколько минут сеймены – стражники спешились у подножия холма и, не переговариваясь, принялись карабкаться по крутому склону. Вокруг не светилось ни одного огонька, нигде не слышалась перекличка стражи, город тонул во мраке и казался заброшенным и необитаемым.

Юсеф-паша знал, что здесь его могут подстерегать любые неприятности, и потому решил первым нанести удар – точный и сокрушительный. Элхадж Йомер и не отходящий от него ни на шаг телохранитель приблизились к конаку, за их спинами прятался Давуд-ага, сердар рукояткой ятагана застучал в обкованные железом ворота.

– Визирь! Визирь! – время от времени выкрикивал он, не переставая стучать. Наконец заскрипело проделанное в воротах оконце, за ним дрожал неровный свет пламени. Сердара узнали, послышался визг вынимаемых из пазов запорных брусьев, щелкнул замок, и как только створки чуть разошлись, Давуд-ага, выскочив из-за спин янычар, всей тяжестью навалился на ворота. Не медля ни секунды, десяток стражников ворвалось во двор, отшвырнув в сторону державшего факел слугу. Совсем рядом застонали под чьими-то ногами скрипучие ступеньки невидимой в темноте деревянной лестницы, кто-то сдавленно выкрикнул: „Разбойники!..“,

но Давуд-ага, метнувшись на голос, навсегда похоронил крик в горле несчастного, а Юсеф-паша уже стоял на пороге конака. Стражники зажгли факелы, их кровавые блики заиграли на стенах, казалось, весь конак запылал в пожаре.

Все это происходило во дворе, а в покоях еще никто ничего не знал об обмане и насильственном вторжении в конак непрошенных гостей. Юсеф-паша шествовал впереди, сердар показывал ему дорогу, за ними следовали Давуд-ага и семеро специально отобранных сейменов, стоявшая у дверей стража склонялась в поклонах и распахивала перед ними двери, у входа в приемную их встретил толстяк с холодным бесстрастным взглядом. Торопливо поклонившись и коснувшись ладонью лба и груди, как того требовал обычай, он ненадолго задержал взгляд на покрытой пылью зеленой чалме Юсефа-паши, склонил голову и певуче произнес:

– Добро пожаловать милостью всевышнего в наш счастливый город, эмир! Целую прах под вашими ногами вашей милости... Ваш покорный раб, главный писарь области Абди... Горе тем, кто не смог достойно встретить вас в этот час покоя, но тем больше ниспосланная мне благодать.

Подняв голову, он уткнул холодный бесстрастный взгляд в плечо Юсефа-паши и, помолчав, спросил:

– О ком буду иметь честь доложить? Визирь бодрствует, он примет вас.

Отвечать ему Юсеф-паша счел для себя недостойным, поэтому из-за его спины вышел Давуд-ага, все еще державший в руке горящий факел.

– Доложи, Абди-эфенди, что державный перст падишаха указал своему посланцу на ваш благословенный холм. Да светит нам в любой ночи негасимое солнце нашего повелителя!

Последние слова заставили писаря пасть и клубком свиться у ног пришельцев, затем он вскочил и, согнувшись в поклоне, спиной отступил в темноту, к противоположной стене, и скрылся за одной из трех дверей. Оттуда немедленно появился слуга, принявшийся ловко зажигать свечи и светильники. В продолговатом помещении стоял стойкий запах воска и чернил, кофейной гущи и бумажной пыли, и Юсеф-паша только теперь почувствовал, что после многочасовой скачки к горлу подступает тяжелый комок: желудок его не справился с жестким куском, проглоченным во время трапезы у реки. Он с отвращением сглотнул и осмотрелся. Вдоль короткой стены тянулась высокая лавка-миндер, на которой, видимо, в приемные дни восседал правитель области, посередине приемной стоял ненужный весной в этих краях мангал. Ни истоптанный ковер, ни стоявший в углу низкий, весь в царапинах, столик писарей, ни шторы на окнах и старые подсвечники не свидетельствовали о той роскоши, которая, как ожидал Юсеф-паша, должна была сразу же броситься ему в глаза. У входной двери валялся забытый половик: наверное, визирь недавно принимал неверных, и половик был брошен, чтобы они не сквернили землю.

Давуд-ага несколько раз выходил и возвращался в приемную, один из сопровождавших пашу сейменов спустился по лестнице и привел с собой подкрепление, и Юсеф-паша начал уже подумывать о том, что ждать больше нельзя, но тут средняя дверь бесшумно распахнулась. Похоже, за ней прятался человек, но его не было видно, взгляду паши открылся только широкий коридор, в конце которого показалась вереница слуг с подносами в руках, за ними выкатился писарь, а завершал шествие сам местный визирь, поддерживаемый с обеих сторон двумя дюжими арнаутами.

Наверное, ему уже доложили о том, что произошло во дворе конака. И если это не испугало его, то, по всякой вероятности, разгневало вторжение; хотя бы тень недовольства должна была омрачить его скуластое, до бровей заросшее бородой лицо, а оно излучало дружелюбие и радость, как будто среди своих телохранителей, слуг и чиновников визирь меньше других догадывался, каким образом этот посланный из столицы мубашир очутился в святая святых конака. Перед поездкой Юсеф-паша разузнал, что местный визирь был известен как храбрый воин, человек хотя и простоватый, грубый и сварливый, но при всем при этом прямой и открытый. Не слишком полагаясь слуху о последнем, Юсеф-паша решил проявить осторожность, чтобы не нарваться на коварство, и сейчас, слушая искусную вязь приветствий визиря и умело отвечая на них, радовался, что не обманулся в своих подозрениях.

Трижды хозяин предложил Юсефу-паше занять почетное место и трижды получил от гостя отказ. Наконец оба устроились друг против друга на низеньких лавчонках, предназначенных совсем не для таких людей. Лавчонки стояли в противоположных концах комнаты; разговаривая, им приходилось повышать голос, а дрожащее пламя свечей не позволяло вглядеться в лицо. Слуги принялись расставлять подносы, уставленные яствами, напитками и чашечками с дымящимся кофе, и Юсеф-паша не остановил их. Не успели они покончить с подношениями, а визирь уже поинтересовался, сколько у мубашира людей и как они разместились на ночлег, но вопрос его ни к кому конкретно не адресовался, поэтому паша поспешил сам ответить на него:

– Не беспокойся, визирь. Распорядится лучше нас...

Абди-эфенди тоже открыл рот, чтобы помочь своему господину, но, услышав столь туманные слова па-

ши, бесшумно отступил назад, так и не проронив ни слова.

Гость не торопился объяснять цель своего приезда, а хозяин не спешил с расспросами. Визирь нисколько не сомневался, что ночной приход этот не сулит ему добра, однако все еще не верил, что он грозит ему бедой. Сорокапятилетний рубеж он перешагнул человеком физически крепким, властным и очень богатым; даже просторный халат не мог скрыть огромной животной силы его мускулистого тела, и сила эта сопротивлялась и не могла согласиться, что все хорошее, ...и прочное погубит этот уже начавший сутулиться столичный паша; наверное, его сверстник, имя которого ничего не говорило ему и который наверняка был баловнем двора и пользовался покровительством могущественного сановника. Визирю казалось, что, если бы он располагал временем, ему удалось бы справиться с посланцем падишаха: если не выбить разящее лезвие из его рук, то хотя бы притупить его. Разбойническое вторжение лишило его возможности маневрировать, изворачиваться, тянуть время и хитрить, да и паша понимал, что в этой ситуации им не оставалось ничего другого, кроме как в этот поздний час сойтись в единоборстве подобно двум баранам. Ночная стража конака была немногочисленной, но отлично обученной, за стеной стояли наготове еще восемь телохранителей-арнаутов, ждавших сигнала Абди-эфенди, чтобы ворваться в приемную. Что ж, паша сам напросился на такую встречу. Отступать поздно, они с пашой столкнулись на узком мостике, и оба одинаково рисковали свалиться в бездну.

Насильственное вторжение не предвещало ничего хорошего, но визирь решил до конца скрывать свой гнев, досадуя на то, что допустил промах и позволил за-

стать себя врасплох, но не думал об этом, ибо что сделано, то сделано, и изменить сделанное никто не в силах. Человек многоопытный, он прекрасно знал, что в политике, как и в битвах, свершенное имеет гораздо бóльший вес, чем все традиции, законы и представления о справедливости. Свершенное – каким бы оно ни было – само по себе становится законным и справедливым, вопрос лишь в том, кто одержит верх. Да, что стóит годами устанавливавшийся им порядок и даже сам высокий сан визиря перед тем простым фактом, что паша сидел напротив и так и не придвинул к себе угощенье, не поднес к губам стоявшую перед ним чашку кофе. И визирь не выразил своего возмущения не только потому, что хитрил, но и по той причине, что, справившись с первой вспышкой гнева, в глубине души уже смирился перед свершившимся. Сила всегда права. Сила есть проявление воли Аллаха, иначе она не была бы силой.

Первый бой во дворе конака был проигран, но, как и всякого опытного бойца, визиря не пугало это первое поражение, ибо ему предстояло сражаться дальше, и сражаться без оглядки. Смущало его лишь то, что в его руках оставалось только одно оружие – настоящее, а зеленая чалма гостя указывала на то, что он является потомком пророка, и если оружие не сделает своего дела, расплата будет страшной. Но больше всего визиря беспокоило то, что он ничего не знает о должности паши и о его истинной миссии. Конечно, указующий на него перст столицы добра не обещал, но возможность торговаться еще оставалась и незачем было понапрасну подставлять горло под нож. Эх, если бы у него было время всё обдумать!.. Столица далеко, путь к ней не близкий, пока гонец, как бы ни гнал он коня, обернется, многое может перемениться. А за этот путь мно-

гое терялось и многое менялось. В море власти влились тысячи рек, и если паша прибыл сюда по одной из них, визирю ничего не мешало воспользоваться водами другой… Только сделанного не вернуть, нет такой власти ни у падишаха, ни у слуг его.

Визирь пребывал в нерешительности… Правая рука его покоилась на колене, и он подумал о том, что в это время Абди-эфенди не сводит с нее глаз, ожидая, когда она повернется ладонью кверху, чтобы кликнуть арнаутов…

II

Юсеф-паша, тоже не спускавший глаз с руки визиря, задержался больше, чем думал.

Как только визирь показался в коридоре, сразу узнал его и вспомнил, как двадцать лет назад они обнимались и хлопали друг друга по плечам. Было это во время первых торжеств, устроенных новым султаном по случаю рождения сына-престолонаследника; двери всех домов тогда были распахнуты и повсюду – на улицы и во дворы – выплескивались обилие, щедрость и веселье. На каждом углу дымились котлы с мясом жертвенных баранов, но вокруг них уже не толпились вечно голодные бедняки, успевшие до отказа набить свои бездонные желудки, все лавки были открыты, товары выставлены напоказ, но никто ничего не продавал и не покупал, хотя осень выдалась мягкая и солнечная, богатая на плоды, слепящая блеском. Рынки кишели народом, шумные толпы праздношатающихся закручивало водоворотом, даже салма-чокадары, столичные шпионы, разгуливали по улицам в штатском, люди узнавали их по туго облегающим икры сак-

мам и черным каракулевым шапкам, подбитым зеленым сукном, но встреча с ними не пугала ни одного из преступников, выпущенных на дни торжеств из острогов, дабы и они вкусили сладость зерна божьего.

Пьяный от радости и от радужных надежд, Юсеф-паша обходил с поздравлениями дома друзей и благодетелей и, поднимаясь по ступенькам застланной ковром лестницы к Орхану-эфенди, троюродному брату отца и своему покровителю, едва не налетел на мужчину, человека, такого же молодого, знатного и столь же возбужденного торжествами. Они поздравили себя с тем, что на престол пролился счастливый свет, зауступали дорогу, и в миг, когда их сияющие взгляды встретились, вся их нерастраченная сила молодости и веселья, душевной щедрости и веры в счастливое будущее сама толкнула их друг к другу и они крепко обнялись. Порыв их был искренним, сердечным и бурным, и юный Юсеф понял, что чувство единения с правоверными всего мира, которое всецело владело им с утра, наконец-то прорвалось наружу, встретившись с братским ликом.

Чувство это было знакомо Юсефу-паше и раньше, но в тот день оно завладело им без остатка. Он знал все дно этого чувства – глубокая и безграничная духовная принадлежность к священному союзу людей, объединенных личной и общей верой в аллаха и его пророка. Аллах был убежищем мира, и кроме слепцов, все еще не прозревших это, все те, кого всевышний не обошел своей милостью, казались Юсефу-паше братьями и сомышленниками, независимо от их положения в обществе, языка и рода занятий. Ему страстно хотелось верить, что так оно и есть, он гордился своей принадлежностью к мировому сообществу мусульман, он поклялся быть достойной его частицей; весь жар души он посвящал мусульманству, радуясь, что относится к числу

зрячих и посвященных, и ожесточаясь на неверных, не желающих спасаться и препятствующих спасению других.

Всплеск чувства религиозного единения и любви был настолько неожиданным и ошеломляющим, что Юсеф-паша запомнил тот день на всю жизнь, как не забыл он и о том незнакомом сверстнике. Обнявшись, они как мальчишки помчались по лестнице, сильная рука спутника приподнимала Юсефа-пашу в воздух, легко перенося со ступеньки на ступеньку. Так, не разжимая объятий, они добежали до дверей салона, и когда – веселые, раскрасневшиеся и задыхающиеся предстали перед собравшимися, все приняли их за старых друзей или родственников. Их усадили рядом, и хотя оба успели пресытиться угощениями, они не посмели нарушить обычай и присоединились к обильной трапезе Орхана-эфенди. Салон был усыпан цветами, в расставленных по полу египетских корзинках высились пирамидки всевозможных плодов, доставленных из разных концов необъятной империи. Влиятельный придворный, Орхан-эфенди никогда не вступал в рискованные беседы и тем более не позволял ничего подобного в своем доме. В праздник же и вовсе было недопустимым говорить о неприятностях или сообщать дурные вести, поэтому в салоне журчали легкие и приятные разговоры. Разумеется, мужчины не удержались от рассказов о силе и юначестве, у каждого было что поведать об этом, и в какой-то момент Орхан-эфенди указал гостям на пришедшего с Юсефом-пашой юношу:

– А ведь незачем ходить далеко за примерами. Вон стоит молодец! Подковы гнет, коня на скаку остановит, кабы не знатный род, был бы борцом на празднествах и равных ему не знала бы вся земля наша, дари ее всевышний славой своей!

Гости повернулись к юноше, глядя оценивающе. И хотя никто не усомнился в словах Орхана-эфенди, все, в том числе и сам хозяин, почувствовали, что они нуждаются в каком-то подтверждении. Юноша побагровел, заросший черной как смоль бородкой подбородок его дернулся, он попробовал засмеяться, но закашлялся, и его смущенный взгляд забегал поверх голов достопочтенных беев.

– И без коня и подковы видна его сила, – произнес чей-то голос, а юноша, не вставая с оттоманки, протянул руку к одной из корзинок и схватил с вершины пирамидки кокосовый орех. Он несколько раз подкинул его на ладони, словно определяя его прочность, а тот же голос попытался умерить его пыл:

– Не стоит, богатырь...

Юноша, однако, не слышал ничего, кроме ударов собственного сердца, и не видел ничего, кроме шершавой коры коричневого плода. Каждый знал, как трудно открыть кокос, а раздавить его – нужно, чтобы на него наступил слон. С лиц гостей смыло улыбки, и тишину прорезала тоскливая мелодия зурны.

Костлявые пальцы незнакомого юноши начали медленно сжиматься. Упершись локтем в бок, он напрягся, все присутствующие затаили дыхание и во все глаза следили за его дрожавшей от напряжения рукой. Побледневший Орхан-эфенди забился в угол, проклиная себя за неосторожно сорвавшиеся с языка слова, грозившие ему позором и могущие испортить праздник. А что будет делать герой, если его попытка бесславно провалится?! Легкомыслие может стоить ему доброго имени, злые языки раструбят об этом по всему городу, на карьере будет поставлен крест. Перед силой здесь преклонялись, но и за каждую неудачу платили дорогой ценой. Ох, какой позор! Каждый из гостей ду-

мал о том же, большинство всем сердцем желало юноше победы, которая позволит ему выпутаться из неловкого положения. Желали, но не верили. И только Юсеф-паша, охваченный состраданием к смельчаку, мысленно заклинал: „Сделай это... Сделай... Яви чудо, всевышний!“ – и в оцепенении наблюдал за усилиями незнакомца, до посинения сжимая зубы и впиваясь ногтями в алую обивку оттоманки. Он заметил, что кулак юноши разжался, и едва не охнул. Переведя дух, юноша шевельнул пальцами левой руки, собрался с силами и напрягся так, что на лбу вздулись вены, и наконец орех с хрустом разломился. Брызнуло молоко, жидкая кашица протекла на ковер.

– Ай-вах! – с облегчением вздохнули гости, а по всему телу юноши вдруг пробежала мощная судорога.

– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! – зашелся юноша в смехе, показывая руку, испачканную молоком и кашицей. И все гости захихикали, заржали, захрюкали, причем громче всех радостно поскуливал Орхан-эфенди. К юноше подбежал ибрекчия – слуга, подающий гостям воду для омовения, ловко стряхнул с его ладони остатки скорлупы, ополоснул розовой водой, и только тогда, стряхнув капли, победитель вознес руку над головой. Юсеф-паша почувствовал новый прилив братской любви к незнакомому герою и раскрыл навстречу ему объятия.

Конечно, они познакомились тогда же, но поскольку Юсефу-паше в тот день предстояли еще визиты, он поклялся разыскать его в ближайшие дни, чтобы знакомство перешло в дружбу. Но события приняли другой оборот. Случилось то, чего все давно ждали: воинственно загрохотали султанские барабаны, призывая к священной войне – газавату, и от Азии драконами потянулись колонны борцов за веру, отправлявшихся на поля брани. Юсеф-паша чувствовал, как его кидает то в

жар, то в холод, и причина была не только в том, что он поддался воодушевлению, охватившему всю империю, но и в сознании того, что в его жизни произойдут важные перемены. И хотя он продолжал рассчитывать в этом на помощь Орхана-эфенди, в потрясшем его в день рождения престолонаследника чувстве принадлежности к мировому сообществу мусульман, он видел знак того, что на него снизойдет особая милость всевышнего. После непродолжительных колебаний падишах остановил свой выбор на нем и поручил вынести из столицы зеленое знамя и нести его впереди победоносных войск. Перед священным знаменем все приближенные султана сановно поднялись на ноги, а Юсеф-паша шагал твердой поступью, радуясь забившему в его груди роднику и купаясь в его блаженстве. Война задалась долгая и грязная, знаменосец купался в крови и смраде, ночевал то в богатых домах, то на грязной соломе, наступал и отступал, возвращался в столицу, откуда его снова посылали в далекие края с тайными и многотрудными поручениями.

Так случилось, что он не встретил того богатыря. Но когда он с нежностью вспоминал о своей чистой молодости и о всесокрушающей любви, пришедшей к нему тогда и составлявшей частицу его веры, перед глазами всплывала гостиная Орхана-эфенди и образ возлюбленного брата. С годами этот образ становился все более расплывчатым, а имя юноши забылось, вытесненное из памяти именами тысяч других людей.

Вот кем оказался визирь города на холме, о котором Юсеф-паша был много наслышан и которого собирался устранить, но оказался неспособен устоять перед натиском нахлынувших на него воспоминаний. Теперь он не спускал глаз с его руки и в дрожащем свете горящих светильников, казалось, отчетливо видел порос-

шие густыми волосами сильные пальцы и даже поежился, представив, как эти пальцы мертвой хваткой впиваются в жертву ломая кости как скорлупу ореха.

Приговор был спрятан под полой его подбитого мехом джубе – надлежащим образом составленный и освященный справедливостью сильного. Первоначально Юсеф-паша и не помышлял зачитывать его визирю – так было разумнее и безопаснее. Но в память о том юноше-герое, во имя былой любви к нему Юсеф-паша решился отступиться от задуманного плана и спасти человека. И видел он в этом не слабость, а богоугодное дело, которое обоим им должно было зачесться на небесах. Юсеф-паша даст ему шанс понять свою ошибку, покаяться в свершенном грехе, и, когда страшные ангелы Мункар и Накир станут допрашивать визиря, это будет ответом, который поможет ему избежать мучений и быстрее оказаться в райских кущах.

– Я прибыл к тебе, визирь, как посланец правды и любви. Милосердие аллаха безгранично! – промолвил, наконец, Юсеф-паша. – Читай султанский берат!

Метнувшись молнией, Давуд-ага подхватил свиток, и из правой руки паши он перекочевал в левую руку визиря. Из-за спины у хозяина его взял Абди-эфенди и, развернув, коснулся губами печатей и глубоко поклонился. Не разгибаясь, он тихо зашептал прямо в ухо визирю слова султанского указа, тот ненадолго задумался, затем, не дослушав до конца, вырвал у него привезенный гостем документ. Одна печать, султанская, была ему хорошо знакома, сам великий визирь хранил ее на своей груди, но вторую ему доводилось видеть редко, бераты с такой печатью ему еще не приходили. Вторая печать на плотном пергаменте принадлежала шейху-уль-исламу, творцу ее законов и судье над всеми судьями империи, и визирь с каким-то тоскливым без-

различием подумал, что гостю из столицы удалось дважды за этот вечер застать его врасплох. „Ты, названный мною, и все слуги и люди твои, – пробежал он глазами последние строки берата, – обязаны повиноваться приказам, которые передаст мой мубашир Юсеф-паша. Такова моя воля, подтверждаемая священным фирманом!“

– Одному тебе скажу, – продолжил Юсеф-паша, но замолчал и посмотрел вокруг.

„Одному мне, одному мне…“ – повторил про себя визирь и вяло хлопнул в ладоши. Менявшие свечи слуги и еще двое-трое вошедших с подносами шмыгнули за дверь, поколебавшись, за ними вышли и арнауты и, наконец, последним поплеся к выходу Абди-эфенди. Неожиданно паша резким жестом остановил его, приказывая вернуться к хозяину.

– Напомню тебе то, – вновь заговорил гость, – что сказано в священной книге: защитой постигается подлинный смысл власти! Справедливость аллаха распростерта над всем сущим!

Он помедлил, давая возможность тому, кто внимал его словам, проникнуть в их смысл.

– От всевидящего ока повелителя нашего не укрылось, что святилища, воздвигнутые его дедами, рушатся и приходят в запустение, оставленные заботой тех, кто должен печься о них. Лишенные усердия садовника, чахнут посевы религии и веры нашей. Истинны ли слова мои?

„Дин и иман – религия и вера…“ – мысленно повторил визирь, все еще не понимая, к чему клонит гость. Молчание затягивалось, и Абди-эфенди поспешил ему на помощь. Выслушав его, визирь расправил плечи, на бородатом лице появилась прежняя радушная улыбка.

– Мы, мубашир, как верные слуги повелителя на-

шего, надежно удерживали в руках своих ковер воли его, распростертый над холмом. Слова твои справедливы. Смиренные садовники, мы вырываем сорные растения, дабы дать простор полезным. Как я понимаю, тебя беспокоит то, что случилось с мечетью Шарахдар. Смертный грех, рассказать о котором у меня не поворачивается язык, привел к тому, что над мечетью этой повисло проклятие, правоверные, повинуясь предписаниям шариата, бегут от нее как от чумы. Дары от верующих, а их становится все больше и больше, пойдут на постройку новой мечети, да не оставит нас всевышний своей милостью!

На самом деле доходы от принадлежащей мусульманской общине собственности поступали в казну правителя области, но визирь знал, что никто не сможет доказать происхождения каждой монеты, туда попавшей. Ему ничего не сто́ит открыть сундуки и взять столько золота, сколько потребуется. „И даже гораздо больше! Порог мечети прикажу позолотить!“ – отчаянно и страстно поклялся про себя визирь.

– Сердце кизлара-аги обливается кровью, – заговорил Юсеф-паша. – И еще скажу тебе…

Телесная сила визиря стала возвращаться к телу, побеждая уныние и сонливость, еще недавно сковывающие волю. Ему начинало казаться, что мубашир прибыл к нему с каким-то мелким поручением, возможно, чтобы восстановить заброшенную мечеть или же отобрать деньги, поступавшие от мусульманской общины. Сама его телесная сила боролась за жизнь, ослепляя и оглушая его, точно визирь забыл, каким образом паша появился в конаке, и потому он пропустил мимо ушей упоминание о кизлар-аге, начальнике черных дворцовых евнухов и главном смотрителе всех мечетей империи.

– И еще скажу тебе, что истинный смысл власти – в ее постоянном приумножении. Так из небольшой группы избранных последователей пророка выросла мусульманская общность, которой принадлежит полмира. Ибо сказано – люди непостоянны, нерешительны, слабы, безрассудны, а главное – неблагодарны. Эх, визирь, святая вера наша оказалась здесь загнанной под крышу твоего конака, – Юсеф-паша топнул ногой, – красная краска потрескалась на заброшенных домах правоверных. Истину ли я говорю?

– Истину, паша, истину... Болезнь подкосила нас... Чума... Никто не в силах избежать предначертанного ему, – попытался защититься визирь, но Юсеф-паша уже не слушал его, ибо визирь признался и тем самым спас свою душу, приговор лежал под отворотом полушубка, пора было произнести последние слова и дать последний знак.

– Пророк, да сияет над гробом его негасимый свет, – начал он, возвышая благостный голос, – завещал нам: кто видит зло – да победит его десницей, если не сможет – языком, а если и это не поможет, то словом.

Из-за дверей донесся звук грузно упавшего тела, испуганно взвизгнула женщина, визирь, съежившись, беспокойно вытер руки об колени и поднял правую ладонь вверх, словно собирался росить милостыню.

– И вот, – продолжил Юсеф-паша, четко разделяя слова, – мы, видя зло, сразили его сердцем своим, отбросили языком, и теперь нам осталось только поднять десницу, чтобы с братской любовью... с братской любовью, справедливостью и... с братской любовью...

На виске у Юсефа-паши вздулась вена, он безуспешно пытался подобрать новое, яркое слово. И хотя, упомянув о пророке, он скомкал условную фразу, Давудага сунул руку под полы своей антерии и принялся от-

стегивать серебряные крючки, удерживавшие спрятанный под одеждой шнур. На ощупь он привычно сделал петлю. Рядом с ним вырос второй сеймен, по имени Фадил-Беше, которому он покровительствовал и передавал свое мастерство, вдвоем они скользнули к визирю, обходя его с двух сторон.

III

Давуд-ага натянул шнур, чувствуя, как завибрировал конский волос, лаская пальцы. Сладостная дрожь побежала от ладоней к локтям, свела плечи, обдала спину и перекинулась на ноги. Со страхом и нетерпением ждал Давуд-ага этого приступа ярости и острой тоски, неизменно вызываемого в такие моменты прикосновением к шнуру. Многое значил шнур этот в его жизни, он не давал ему забыть о Ракибе, на всю жизнь привязал его к ней.

Никогда уже не иметь ему такой лошади, и ни разу больше не приходилось видеть такой красавицы по базарам. Он купил ее молодой кобылкой, неопытной и необъезженной, отдав за нее кучу денег, ибо бурлила в ее жилах кровь драгоценная, как йеменский рубин. Белее лебяжьего пуха, с черным как уголь хвостом и такой же гривой, с небольшой изящной головкой, поджарая кобылка эта ходила размашистым шагом. Давуд-ага сам взялся за ее обучение. Кобылка оказалась умной и сообразительной, и когда она, кося блестящий глаз в его сторону, смотрела на него, ему казалось, что она говорит: „Я твоя и буду верна тебе!“ Он подолгу любовно вычищал ее скребком, нашептывал нежные слова, а когда подходил спереди, кобылка тыкалась головой в его плечо и осторожно тянула к себе. Завистни-

ки трижды пытались увести ее, Давуду-аге приходилось ночевать в яслях, и когда однажды он застал там какого-то курда, выводящего Ракибе, он зарубил его на месте, а возбужденная видом чужой крови кобыла пронзительно ржала и вставала над трупом на дыбы. Ах, как хорошо они понимали, как они любили друг друга! И чье проклятие, чья злая воля разделила их!

В тот злополучный день Юсеф-паша опять понес перед войском зеленое знамя газавата. Давуд-ага случайно оказался в последних рядах и незаметно для себя смешался с нестройными отрядами башибузуков, гнавших коней во весь опор, сталкивавшихся на ходу и мешавших друг другу. Несясь в облаках густой пыли, Ракибе нервно крутила головой, пытаясь вырваться из шумной и грязной лавины. Давуд-ага, прикрывавший рот и нос концом чалмы, почти ничего не видел, и когда передние ноги кобылы провалились в какую-то яму, его выбросило из седла и швырнуло на землю. С криками „слава аллаху!" под бой барабанов мимо проскакали последние всадники, а Ракибе, его бесценная и любимая Ракибе лежала в пыли со сломанной ногой. „О аллах, помоги мне!" – стон этот вырвался как будто из самого сердца Давуда-аги, и на коленях он подполз к кобыле. Из подоспевшей толпы любопытных, сопровождавшей отряды воинов ислама, к ним подскочили какие-то люди, один из них, дергал кобылу за хвост, попытался заставить ее встать на ноги. „Назад!" – рявкнул Давуд-ага, закипая от бешенства и хватаясь за кинжал. Зеваки моментально кинулись в разные стороны, подальше от озверевшего Давуда-аги, и уже оттуда с опаской наблюдали, как сокрушенный горем хозяин склонился над головой лошади.

В рваных обрывках кожи под коленом виднелся белый обломок кости, кобыла дергалась, силясь вско-

чить, прерывисто дышала от боли и то вскидывала, то опускала на запыленную пожелтевшую траву свою тонкую шею. Пусть бы весь мир переломал себе ноги – была бы Ракибе цела и невредима! Пусть бы исчезли с лица земли все до последнего человека – была бы жива Ракибе! Она была верной, преданной, благородной и чистой; Давуд-ага не знал никого, кто мог бы сравниться с ней душевной отзывчивостью. Все скопом люди, погрязшие в прахе, лжи и бесчестии, не стоили и волоска с ее гривы. Одна она могла любить, и одна она заслуживала любви. Эх, Ракибе... Во рту Давуда-аги скопилась сухая горькая слюна, и он захлебывался ею. Давуд-ага знал, что спасти кобылу невозможно, он мог лишь затянуть ее страдания и потому нужно избавить ее от них, и чем скорее, тем лучше. „Я сам, сам, милая...“ – пробормотал он, прижимая голову кобылы к своей груди. В правой руке Давуд-ага сжимал кинжал, который рукояткой упирался ему в сердце, а острием – в белую, нежную шею Ракибе. Стальное лезвие вибрировало от ударов пульсирующей в их венах крови, ударов, сливавшихся в едином ритме, прятавшаяся в кинжале смерть была готова отступить перед половодьем залившего их чувства. Сердцем, своим страдающим сердцем нажал Давуд-ага на рукоятку кинжала, и клинок мягко погрузился в горло кобылы. И там, где его сердце прижалось к горлу кобылы, забил рубиновый фонтан крови. На груди у Давуда-аги стало расползаться мокрое пятно, словно это его пронзил клинок, потом струя, упав на гриву, залила его кисти и начала подбираться к локтям, обдала его плечи, потекла по ногам и густыми черными каплями на пыльную землю. Все сильнее прижимаясь к кобыле, Давуд-ага дрожал от бешеной тоски, любви и злобы, а Ракибе билась в агонии и наконец отшвырнула его от себя, и перед тем,

как встать и уйти прочь, Давуд-ага в последний раз заглянул в стекленеющие, с закатывающимися зрачками глаза кобылы.

Когда через час он вернулся в сопровождении канатчика, возле трупа лошади не было ни души. Давуд-ага щедро заплатил ему за то, чтобы он отрезал гриву и хвост и сделал ему шнурок на память. Нанял двух бездельников, чтобы они похоронили Ракибе. Шнурок получился на славу – тонкий, тугой и прочный, он легко сгибался и разгибался в его руках, напоминая о гибкой поступи Ракибе.

С тех пор Давуд-ага подпоясывался этим шнурком, привык к нему и уже много лет не расставался с ним ни днем, ни ночью. Память о любви, он стал ему талисманом, оберегающим от невзгод, а по прошествии времени сделался его верным помощником, таким же верным, каким он сам был Юсефу-паше. Далекие миссии и тайные поручения паши все чаще завершались набрасыванием шнурка на шеи валий, правящих вилайетами, и беев, в подчинении которых находились жители санджаков, а также аянинов и мютесарифов, преступивших законы шариата и свернувших с пути, предписанного пророком для правоверных.

Чаще всего эти отступники были повинны в том, что, набивая сундуки золотом, не удосужились позаботиться, чтобы блеск его не слепил глаза сидящего на престоле, и они лишались всех своих богатств, а заодно и безрассудных в алчности голов. Или же просто наступало время отобрать у них власть, с тем чтобы передать ее тому, кто преуспел в усердии, доказывая падишаху свои достоинства верного раба, а власть в империи редко передавалась без головы властителя. Провинившимися считались и те, кто выказывал мало рвения в служении престолу и религии. Расплачиваться же за

гнев столицы и за время, потраченное на рассмотрении дел и вынесение приговора, неизменно приходилось головой. Давуду-аге не полагалось знать, в чем провинился человек, на шею которого он набрасывал петлю, да и сам он никогда не интересовался этим. Знать это было долгом Юсефа-паши, и он не только знал обо всех прегрешениях, но и собственноручно затягивал петлю закона, подготавливая приговор, который скреплялся печатью великого визиря или шейха-уль-ислама. Юсеф-паша был человеком ученым, улемом с юных лет, немногие могли тягаться с ним в премудрости толкования Ханафитского мазхаба – основного закона империи. Священная книга и хадисии, фикхт и султаннаме – все это было небом, в котором парила его душа, но Юсеф-паша был не только улемом, но и самоотверженным борцом за веру, непоколебимым и твердым, со скоростью стрелы и неотвратимостью судьбы появлявшимся там, куда позвал его долг.

И если Юсеф-паша был карающей десницей сиятельной власти, то Давуд-ага был мечом в его деснице, а шнурок – память о прекрасной Ракибе, был острием этого меча. Еще тогда, когда он впервые расстегивал серебряные крючки, готовясь выполнить приказ, Давуд-ага познал, что значит находиться во власти старой любви. Ему и раньше приходилось убивать во имя справедливости и по приказу своего господина, но тогда он убивал хладнокровно, и если что и волновало его, так это чувство исполненного долга. Но, накидывая шнурок на шею первой жертвы, Давуд-ага внезапно испытал такую бешеную ярость, такую отчаянную тоску и щемящее чувство любви, какие владели им в момент прощания с Ракибе. Ему показалось, что Ракибе стоит рядом и дарит ему волшебную силу, вливающуюся в него так же, как когда-то его заливала кровь любимой

кобылы. Потом это повторялось каждый раз, и каждый раз Давуд-ага со страхом и нетерпением ждал этого состояния. Он боялся этих минут, потому что потом, вспоминая о них, понимал: в таком состоянии он становится сам не свой, все в нем переворачивается, мучительное наваждение проходит не скоро, как тяжелое похмелье. Но стоило ему коснуться крючков, как страх проходил, уступая безумному желанию вновь испытать то чувство, во власти которого он находился в момент прощания с Ракибе, это желание жгло его, как расплавленная смола, страдание превращалось в наслаждение, память о вонзенном в горло клинке становилась искуплением, и Давуд-ага беззвучно вопил, затягивая петлю на шее жертвы, видя перед собой Ракибе и мысленно прижимаясь грудью к ее ране, всей душой желая спасти ее или хотя бы отомстить всему миру за эту страшную и несправедливую смерть.

Юсеф-паша давно обратил внимание на то, с каким остервенением его слуга исполняет приговоры, но считал, что оно вызывалось чрезмерным усердием. Усердие же это он объяснял любовью, какую сам он носил в своем сердце и старался передавать окружающим, – ту чистую любовь к всевышнему, к мусульманскому братству и праведной жизни, предписанной вероучением. Юсеф-паша ничего не знал об истории шнурка. Не знал он и того, что жестокость слуги взросла на почве бескорыстной любви, безумной страсти, волей аллаха превратившейся в скрытую и неизлечимую болезнь Давуда-аги…

Посиневший визирь все еще барахтался с петлей на шее. Сначала он с тупым покорством позволил накинуть ее на себя, но потом, рассвирепев, ошалело вскочил, палачи пытались удержать его на месте, зажав своими телами, но Фадил-Беше, получив оплеуху, за-

визжал, как щенок, и Давуду-аге пришлось, изловчившись, ударить визиря в грудь подкованными сапогами, дабы отвести от себя его пыл и докончить начатое дело. Какое-то время визирь продолжал сопротивляться, дергаясь, как баран, которого тащат на заклание, но потом его сильное тело обмякло, глаза подернулись пеленой, а потом зрачки и вовсе закатились, как когда-то у Ракибе.

Именно теперь Давуд-ага становился опаснее всего. Со смертью жертвы кровожадность его переходила все мыслимые границы, он окончательно терял рассудок и обуздать свою ярость самостоятельно не мог. Пыхтя, он стал наматывать шнурок и вдруг заметил Абди-эфенди, распростертого у ног стражников-сейменов. Молниеносным движением выхватив кинжал, Давуд-ага рванулся к нему с такой быстротой, что пребывавший в задумчивости Юсеф-паша едва успел скомандовать, чтобы его остановили. Сеймены преградили своему командиру дорогу, и тогда Давуд-ага с блуждающим взглядом пошел куда-то в сторону и, приблизившись к одной из дверей, рывком распахнул ее. Рывок был так силен, что в комнату буквально кубарем влетело какое-то существо и со звериным ревом заметалось в поисках спасения.

С момента смерти визиря не прошло и минуты. Хотя все присутствующие давно привыкли к подобным расправам, долгая агония силача-визиря смутила их, многие не успели прийти в себя после казни и взрыва исступленной ярости Давуда-аги. Поэтому неожиданное вторжение и звериный рев напугали их, даже Юсеф-паша быстро отскочил к стоявшей вдоль стены лавке. Но еще больше было перепугано само существо – старый карлик с несуразно большой и совершенно лысой головой. Уродливость его фигуры еще больше

подчеркивалась одеждой из золотистой ткани и мягкими чувяками с длинными загнутыми носами. С самого начала карлик прятался за дверьми, слышал весь разговор, а потом и предсмертные хрипы своего господина, но от страха не мог двинуться с места. Попав из темного коридора в освещенную комнату и оказавшись среди вооруженных людей, перепуганный насмерть карлик окончательно обезумел и в панике забегал по комнате, издавая звериный рык.

Бегая, он постоянно натыкался на кого-то и тут же отпрыгивал. Сеймены, брезгливо шарахаясь в стороны, как по команде выхватили ятаганы. Несколько секунд в комнате царила суматоха, даже Юсеф-паша как будто проглотил язык, а карлик тем временем мучительно пытался объяснить что-то всем этим страшным людям, широко разевая рот, и было ясно, что язык его давно отрезан и вырван, болтается только алый обрезок. Опомнившись, сеймены обрушили на беззащитное существо удары своих ятаганов. Последний удар нанес подоспевший Давуд-ага, с яростью вогнавший кинжал в изрубленное тельце карлика.

Труп карлика лежал рядом с телом визиря: в смерти они снова были неразлучны, как неразлучны они были и в жизни. Еще в детстве отец визиря подарил сыну сверстника для игр. Маленький раб оказался неистощимым на выдумки, трогательно преданным, и мальчик привязался к нему, а потом и вовсе не мыслил жизни без карлика, о нем знали все домочадцы, ибо мальчишка, как и положено в его возрасте, не скрывал своих чувств. Карлик стал ему братом, и он даже придумал для него новое и чудноватое имя – Рух Рухан. Как и подобало истинному имперскому вельможе, будущий визирь изучил язык немых и лично обучил всем его премудростям своего друга-раба. Одного легкого движения или прищура глаз было достаточно, чтобы они

поняли друг друга. Так постепенно, то с помощью жестов, то с помощью слов, Рух Рухан был посвящен во все тайны своего хозяина. Лишь одним недостатком страдал бедный карлик – тщедушный и хилый, был он труслив и не в меру болтлив, поэтому, чтобы не лишиться доверия у своего хозяина и не утратить его расположения, ему лучше было многое знать, но не иметь возможности даже под пытками выдать тайну своего господина. Посему из чувства любви будущий визирь отдал распоряжение домашнему лекарю, и тот, предварительно заставив Рух Рухана накуриться гашиша, добела раскалил щипцы и отхватил карлику язык. Сначала Рух Рухан очень переживал, прятался по углам и там в одиночестве обливался обиженными слезами, но потом понял, что сделано это ему на благо и что привязанность визиря сто́ит гораздо дороже, чем ничтожный кусочек плоти.

С тех пор у визиря не было тайн от Рух Рухана, и, ценя его острый ум, он никогда ничего не придпринимал без совета карлика. Визирь хорошо знал ему цену. Но когда карлик кубарем влетел в комнату, полную стражников, которых привел с собой Юсеф-паша, визирь был мертв и уже не мог знать, что Рух Рухан истово клялся, что ненавидит своего хозяина, ненавидит с юных лет за многое и особенно за то, что он лишил его языка и вместе с ним возможности ценой предательства спасти свое уродливое, но единственное и поэтому драгоценное тело.

Фадил-Беше, перетащив тела убитых в соседнюю комнату, прямо на новеньком пестром ковре принялся отделять голову визиря от туловища, думал о том, что надо как следует просолить эту косматую голову в мешке из козьей шерсти, поскольку наутро предстояло отправить ее в столицу как доказательство, что приказ выполнен. Стоя в стороне, Давуд-ага держал наготове соль, и так как ему не удалось перекусить вместе со все-

ми на том берегу, чувствовал собачий голод. Быстрым движением руки он отправил в рот комок соли и, проглотив его, сумел горечью несколько успокоить желудок, свою тоску по Ракибе и беспричинное озлобление на карлика.

IV

К утру Юсеф-паша очистил весь конак. Абди-эфенди понял его с полуслова и, не переставая благодарить за подаренную жизнь, все с тем же безучастным взором отправился в покои визиря, и через несколько минут сеймены притащили оттуда набитые золотом сундуки и кожаные торбы, в которых визирь хранил документы на свои владения, раскинутые по всей империи. Отперев первый сундук, Абди-эфенди убедился, что визирь держал свои сокровища в мешочках, и лишь на узкой полочке рядом с крышкой стояли столбики крупных золотых монет. И прежде чем Юсеф-паша успел вымолвить хоть слово, писарь нагнулся, взял толстую, диковинную монету и с поклоном подал ее своему новому господину. Это походило на дерзость, и паша уже занес руку, намереваясь проучить наглеца, но потом передумал, увидев в поступке писаря добрый знак, и монету взял.

Пересчет монет отнял несколько часов. Этим занялись Давуд-ага и Абди-эфенди: чуть ли не упираясь лбами, они склонились над ними и постоянно перешептывались, проверяя друг друга; казалось, в скупо освещенной комнате замышляют очередной заговор двое опытных интриганов. А пока они занимались этим, был поднят на ноги весь гарем, слуг и приживал пинками согнали с постелей, арнаутов-охранников, связав

попарно, заперли в подвале, на женской половине конака суматошно собирались узлы и завязывались баулы, тела обматывались бусами и ожерельями, слышались рыдания, приглушенные восклицания и заклинания, во дворе забегали слуги, зафыркали сонные лошади, заскрипели седла, захлопали притороченные к ним тюки, в суматохе и толчее, закусывая от страха губы, каждый надеялся, что мубашир передумает и позволит им спастись бегством.

И ни у одного человека даже не мелькнуло мысли о том, что власть и любовь Юсефа-паши распростерлась над ним с единственной целью: защитить. Он произнес какое-то название, и писарь тут же вытащил из мешка купчую на крупнейшее владение визиря. Юсеф-паша еще раньше принял решение отправить туда овдовевший гарем и всех нахлебников визиря. Им будет предоставлен выбор: или оставаться там, или попытать счастья на стороне, если на то будет воля аллаха. Во двор спустился Давуд-ага, чтобы передать список путников и приказать страже выпустить арнаутов и посадить их на коней. Оружие их было навьючено на одну лошадь, за городом они могли снова получить его. Еще до зари сонный, потрепанный и небогатый караван спустился по крутому склону холма, покрутился в поле, ища дорогу среди арыков и проросших посевов риса, и грязные и униженные, но счастливые тем, что им удалось спасти свою шкуру, путники его навсегда покинули холм. Примерно через час небольшая группа хорошо вооруженных всадников помчалась в сторону столицы, увозя голову визиря и захваченное на холме золото. Каждая монета была тщательно пересчитана и перешла в собственность падишаха, поэтому никто и думать не смел о том, чтобы запустить руку в сокровища. И только одна-единственная монета оставалась на

холме – та, что лежала в поясе Юсефа-паши и в которой он увидел для себя добрый знак. Стражники отпустили поводья, первые лучи восходящего солнца и утренняя прохлада заставляли их поторапливаться.

Теперь пустой и онемевший вдруг конак мог вздремнуть после трудной ночи. Юсеф-паша вышел на галерею и с высоты с неудовольствием окинул взглядом грязный, замусоренный после ночного бегства двор. „Воистину сказано: люди непостоянны, нерешительны, слабы, легкомысленны и главное – неблагодарны! – подумал он. – Мудры священные слова корана!“ Во двор, позевывая и прокашливаясь со сна, вышел какой-то старик-слуга, всю ночь спокойно проспавший, как видно, в какой-нибудь конюшне. Юсеф-паша, поразившись, что отправлены не все люди визиря, окликнул его:

– Эй, правоверный!

На негнущихся ногах старик взобрался на галерею и, приблизившись к паше, собирался опуститься на колени, но Юсеф-паша остановил его.

– Я тут всю жизнь прожил, мне идти некуда, – после обмена традиционными приветствиями стал оправдываться старик, заметно волнуясь от того, что ему приходится объясняться со столь значительной особой.

– Наша встреча пойдет тебе во благо, – успокоил его паша. – Ибо писано тебе свершить угодное всевышнему дело, прежде чем пойти своей дорогой. Вон там, – ткнул рукой за спину паша, – лежит тот, кому всевышний оказал милость, прибрав к себе, и еще один... еще один правоверный. Держи! – Юсеф-паша протянул золотую монету из сундука визиря, которую преподнес ему Абди-эфенди. „Во благо я взял ее, во благо и употребляю!“ – подумал он, чувствуя в душе светлую радость, и продолжил:

– Позаботься о них, свези туда, где слышен глас всевышнего. Не оставляй их здесь! Нужно похоронить их, как завещал пророк и как требует обычай, пусть это будет богатое погребение, подобающее тем, чьи чистые души уже предстали пред светлым престолом всевышнего...

Слуга безмолвно стоял перед ним, разглядывая монету, которой хватило бы на похороны не только двух правоверных, но и всей свиты паши. Наконец он выдавил из себя:

– Позволь мне остаться здесь, паша-эфенди! Со скотиной... у меня больше никого нет...

Юсеф-паша свысока смотрел на этого, оставшегося без корней, словно вывороченное бурей гнилое дерево, невежественного, нищего старика и чувствовал, что накатившая на него волна милосердия возносит это жалкое создание, делая достойным любви.

– Оставайся, – бросил он. – Оставайся и помни, что даже гнев аллаха есть проявление любви создателя к тварям своим.

Конюх легко обменял эту монету у ростовщика по имени Параско Томиди. Как только тот взглянул на нее, он сразу же сунул в руки старика тяжелый кошель с деньгами. Потом, заперев лавку, меняла прошел в дальнюю комнатушку и при свете свечи долго рассматривал монету. С обеих сторон ее имелись рельефные выпуклости, чеканка отличалась чистотой и изяществом. С одной стороны был изображен мужчина с повернутой к правому плечу головой, с клиновидной бородой и с прямым, сливающимся с линией лба, носом. На левое плечо его ниспадало пять долгих локонов, вьющихся как змеи, а пышные кудри венчал сплетенный из плюща венок. На обнаженной груди сходились концы накидки, украшенной когтистыми лапами то ли

льва, то ли пантеры. Вздохнул, Томиди перевернул монету. Там была изображена ладья с лежащим в ней все тем же мужем, а из середины ее вилась лоза с семью тяжелыми гроздьями. Снизу шла мелкая надпись, но меняла не сумел прочесть ее. Человек опытный в своем деле, он впервые видел такую монету. Не зная, было ли изображение этого мужчины портретом бога или властителя, по чертам лица его он догадался, что золотой кружок этот сделан древним мастером, в жилах которого текла такая же, как и у него, кровь. „Господи, пресвятая Богородица, Иисусе Христос“, – с суеверным страхом вдруг прошептал Томиди, быстро пряча монету в железный ларец. Занимавшийся день преподнес ему щедрый подарок, и он не стал задаваться вопросом, за доброе или за злое дело было плачено старику этой монетой, украл он ее или получил в наследство, потому что Томиди верил, что к золоту не прилипает ни хорошее, ни дурное. В железном ларчике он хранил самые дорогие вещи, не предназначавшиеся для размена и которые, коли он сподобится милости Приснодевы, когда-нибудь отойдут его сыновьям.

Тем же утром, довольный удачей и праведными делами, совершенными на благо живых и мертвых, Юсеф-паша со спокойной совестью готовился совершить первую в этот подаренный всевышним день молитву. Не торопясь, он приступил к ритуальному омовению, ибо пророк предупреждал, что чистота есть половина веры. Чистой была душа его, и таким же чистым должно было быть тело, и Юсеф-паша, пристроившись в углу галереи, омыл ноги водой, до локтей вымыл руки, несколько раз плеснул себе в лицо и наконец провел мокрой ладонью по бритой голове. Потом, подойдя к перилам и полюбовавшись ласкающим взор видом широкой, привольно раскинувшейся внизу рав-

нины, мельком взглянул на выплывающий словно из-под земли солнечный диск, и повернулся лицом к священной земле правоверных. Не сомневаясь в чистоте места, на котором стоял, так как видел, что пол галереи был вычищен и намазан воском, он все же почел за благо расстелить молитвенный коврик. Шагнув на него, он отрешился от всего мира с его соблазнами, безверием и злом и хорошо поставленным, но немного охрипшим после бессонной ночи голосом произнес слова обращения к всевышнему, испрашивая его позволения начать молитву. Ему казалось важным, чтобы аллах знал о его сознательном желании помолиться, ибо пророк предупреждал, что всевышний будет судить людей не только за их поступки, но и за намерения. Немного подождав, чтобы слова его дошли до ушей всемогущего, Юсеф-паша, вытянув вперед руки, благоговейно выдохнул: „О всемогущий аллах!“ Это было первым элементом салята, после которого все движения и звуки становились священными. Все еще с выпрямленной спиной, Юсеф-паша, по обычаю переплетя пальцы рук, принялся отчетливо выговаривать аяты первой суры: „Во имя аллаха милостивого и милосердного! Хвала аллаху – владетелю мира, милостивому и милосердному, владыке судного дня! Тебе одному поклоняемся мы, и у тебя одного молим о помощи! Наставь нас на путь истинный, на путь возлюбленных чад твоих, но не на путь тех, на кого ты разгневан, не на путь заблудших!“ С этими словами Юсеф-паша согнулся в поклоне и коснулся ладонями колен, а затем, расправив плечи, воздел руки горе, воскликнув: „Аллах внемлет тем, кто почитает его!“ И упал на колени, уперся затем ладонями в коврик, а там и вовсе распростерся ниц так, что нос коснулся подстилки. Тем самым он достиг вершины своего преклонения, задержался на ней, потом,

не вставая с колен, приподнялся и снова упал ничком, возвращаясь на эту вершину. Семь частей молитвы составляли ракат, а утренняя молитва состояла из двух ракатов. Сидя на пятках, Юсеф-паша объединил ракаты клятвой исповедовать святую веру и коротким обращением к пророку, прося его ниспослать благодать, и начал молиться сначала. Повторив молитву, он поклонился направо и налево, каждый раз произнося одни и те же слова: „Да осенит вас благодать и милосердие аллаха!" Слова эти были обращены и к ангелам-хранителям, и ко всем верующим, ими завершалась святая молитва и начинались дела нового дня.

Как истинный правоверный, Юсеф-паша ничего для себя не просил, он просто выражал в молитве свое преклонение перед всевышним. Он молился по пять раз в день, всякий раз дважды читая молитвы, всегда в одной и той же позе и никогда не меняя силы голоса, и так делал ежедневно, всю свою жизнь. Внизу, во дворе, Давуд-ага, Фадил-Беше и несколько стражников, припозднившихся с молитвой, все еще продолжали склоняться в поклонах и монотонно бормотать простые слова, накрепко вбитые в их головы и потому легко слетающие с губ. Еще юношей, слушая споры ученых мужей о том, каким должен быть ритуал молитвы, он однажды осмелился спросить, какой же ритуал истинный. И лишь спустя много лет пришел к выводу, что истинным является только то, что объединяет правоверных общей для всех ненавистью или любовью. Словно редясь в разные одежды, живущие на земле выбирали разные ритуалы, чтобы узнавать друг друга или тех, кого надлежало уничтожить или обласкать. Известные посвященному знаки делали его жизнь ясной и светлой, давали ощущение могущества, ибо возвышали ничтожного и неуверенного в себе, удваивали

его силы, когда он вступал в бой вместе с другими.

Без знака принадлежности к другим человек ничего не значил.

Вот почему молитва предназначалась не для того, чтобы о чем-то просить всемогущего, выставляя напоказ свою жалкую натуру и свои мелочные заботы и вожделения. Молитва – это способ всецело отдать себя всевышнему, а через него – другим людям, своей общине, своему повелителю – халифу, власть которого освящена небесным владыкой. Ибо сказано – поминающий бога среди нечестивых похож на дерево, цветущее в поле с пожухлой травой. Тысячу раз право писание: закон аллаха – в служении ему. Многократно повторяемые ритуалы призваны укреплять связи между правоверными, делами их похожими на могучий лес, над которым бдит сам всевышний, поэтому Юсеф-паша был глубоко убежден, что молитва является священным делом, важнейшим элементом веры, и нельзя ни пропускать установленного для нее часа, ни наизусть затверженных слов.

Он подождал, пока люди его поднимутся на ноги, и, чувствуя усталость, пожалел, что времени на сон нет. Отпущенный домой Абди-эфенди наверняка успел предупредить местных заправил о судьбе визиря. Юсеф-паша решил пока не беспокоить их, дабы они успели совладать со страхом и настороженностью, да и ему нужно было время на то, чтобы осмотреться и подумать, что можно сделать на этом холме для укрепления религии и веры. Главная цель его визита была достигнута. Голова визиря вместе с его золотом отправлена в столицу, но в разговорах с верховным имамом и главным смотрителем мечетей вспоминалась мечеть Шарахдар, даже в приговоре указывалось, что священное строение заброшено и разрушено. И еще

было написано там, что количество правоверных преступно мало, однако немедленно выправить положение Юсеф-паша был не в силах: на холме совсем недавно свирепствовала чума, выкосившая две трети его жителей.

Процокав по булыжной мостовой, начинавшейся от конака, кобыла, приседая, стала спускаться вниз. Повсюду виднелись следы запустения. Только суровые морозы последней зимы избавили жителей холма от страшной болезни, в течение двух лет свирепствовавшей в городе. Из-за этого он был практически оторван от империи. Посылаемые на север войска обходили его далеко стороной, курьеры наведывались редко, встречаясь с нужным человеком не дальше окраин; запасы риса, столь необходимого для оголодавших жителей столицы, не скапливались в городе, как раньше, а вывозились подданными с полей прямо в наскоро сбитые из досок сараи, построенные на берегу реки. Новости из города приходили нечасто, поскольку в них не было ничего хорошего, и передавали их неохотно. Чума то обманчиво прекращалась на неделю или на месяц, то вспыхивала с новой силой, и людям ничего не оставалось, как только терпеть и молить всевышнего, чтобы он смилостивился над ними.

Юсеф-паша знал, что, спасаясь от мора, многие неверные бежали в первые же дни, бросив на произвол судьбы дома и остальное имущество, скитались по соседним лесам или укрывались в окрестных селах. Те, кто остался, боялись чумы пуще огня и в страхе за свою жалкую жизнь черствели сердцами и становились глухими к чужой беде. Так уж, видно, они были устроены, и когда чума врывалась в чей-то дом и его обитатели метались в жару, почерневшие, как головешки, неверные не смели подать им воды или просто присесть в го-

ловах у несчастных, дабы хоть как-то облегчить их страдания. И все это только для того, чтобы спасти свой дом, свою шкуру. Как всегда, лишь правоверные стойко переносили посланные всевышним испытания, покорно доверяясь его воле. Они доказали свою храбрость и прочность веры, и хотя умерших среди них было в десятки раз больше, страдания их будут вознаграждены наравне с воинами, погибшими в священной войне. А вот визирь, бежав с холма вместе с гаремом и слугами, все два года отсиживался в горах, где разбивал шатры, словно готовясь к сражению. С кем собирался он вступать в сражение, с самим провидением? Юсеф-паша помнил, что в дни его детства тех, кто вот так бежал от чумы, судили за святотатство и сжигали в столице на кострах. С тех пор закон стал не столь суровым, и все же считалось преступлением, чтобы глава мусульманской общины в числе первых бежал от посланных самим всевышним испытаний. Одного этого было достаточно, чтобы визирь расстался со своей головой, ибо в писании сказано: не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам аллах.

Кое-где по склону холма виднелись большие каменные дома, однако высокие ограды мешали рассмотреть, обитаемы ли они или заброшены. Между ними грязным потоком разбегались кирпичные развалюхи, крытые соломой, и совсем уже нищенские постройки из досок и прутьев, обмазанные глиной. Каждый строил, где попало, вокруг домов и ветхих строений бедноты вились тропинки, лоснившиеся от выплескиваемых на них помоев. Они редко совпадали с булыжными мостовыми некогда пролегавших здесь улиц. У небольшого расширения, делившего хребет холма, близ небольшой седловины, их поджидал всадник, в котором Юсеф-паша, приблизившись, узнал Абди-

эфенди. Он ловко сидел на коне, тучность его сейчас была почти незаметна, как будто перед пашой предстал другой человек.

– Служить своему господину, – спасти свою душу! – сказал писарь, умело разворачивая и одновременно сдерживая своего коня, и хотя Юсеф-паша порадовался этим словам, он ничего не ответил, а лишь кивком головы приказал Абди-эфенди встать по его левую руку.

Откуда-то из-за деревьев доносились удары барабана, шум толпы и звуки зурны – то пронзительные, то хриплые, но одинаково однообразные и навязчиво повторяющиеся. Тропинка привела всадников к утоптанной круглой площадке, в середине ее толпилось с десяток бродячих проповедников, среди которых паша заметил и сектантов-суфтиев. Они плотным кольцом окружали двух дервишей. Один из них, ссохшийся старик в заляпанном грязью белом халате, носил на голове огромный белый малахай. Длинные волосы дервиша были заплетены в короткие косички, связанные между собой и ниспадавшие ниже плеч. Другой дервиш был намного моложе, совсем юноша, только чересчур высокий для своих лет. На смуглом лице его выделялись большие светлые глаза. Дервиши, широко расставив руки и отталкиваясь от земли левой ногой, вертелись на правой, все больше и больше ускоряя вращение, ветер развевал полы халатов, глаза юноши поблескивали при каждом повороте, в то время как старик кружился с плотно сомкнутыми веками, прикусив посиневшими губами кончик языка. Музыканты – тоже суфтии из ордена бекташей, войдя в раж, терзали инструменты, а толпа вокруг дервишей, не переставая, исступленно вопила: „Алла хайи! Алла хайи! Аллах жив! Аллах жив!“. У многих на губах выступила пена. Когда старик-дервиш в полном трансе грохнулся на

землю и забился в судорожных конвульсиях, остальные, не прекращая воплей во славу аллаха, подхватили танец. Юноша держался из последних сил, молодость сдерживала безудержное проявление любви к богу, мешала ему достичь зикры – состояния экстаза, которое считается слиянием с божеством и к которому стремились все эти люди.

За площадкой виднелось каменное здание обители дервишей, там же, при ней, находилось училище для юношей, решивших посвятить себя служению аллаху. В этот день не было религиозного праздника, а для ритуала приобщения был слишком ранний час, и Юсеф-паша догадался, что происходящее на площадке устроено кем-то специально в его честь, вероятнее всего, это было придумано Абди-эфенди, чтобы порадовать его душу. Однако Абди-эфенди, после того как Алхадж Йомер, давно знакомый с пашой, шепнул ему, что надо делать, и после совета с кади вывел дервишей и учеников не только для того, чтобы порадовать пашу, но и в надежде умилостивить его.

– Обильные всходы дадут семена веры, посеянные в этом училище, – осмелился похвалить свой город Абди-эфенди, видя, что его новый господин доволен увиденным, и добавил:

– А парень тот мой. Хоть и молод еще, но сердцем жаждет познать глубины вероучения.

И он рукой показал на юношу со светлыми голубиными глазами. Поворачивая голову, чтобы посмотреть на юношу, Юсеф-паша заметил, что в бесстрастном взгляде писаря мелькнула гордость за сына. Желая проявить отзывчивость, Юсеф-паша ответил:

– Все во власти аллаха! Ты, Абди-эфенди, укрепил мой дух. Приведи ко мне мальчика, как выдастся время. Да осыплет аллах его своими милостями!

Потом всадники спустились по склону и тут же попали в лабиринт усеянных лавками улиц и вонючих торговых рядов. Сидевшие на порогах торговцы вскакивали и сгибались в поклонах, мастера и подмастерья, в основном гяуры, выглядывали из-за решетчатых окон. Лавки были увешаны связками сапог, медными блюдами, подносами и кувшинами, мотками веревок, сбруей, кузнечными изделиями, склады ломились от зерна, меда и кож – ничего удивительного, что в основном в сундуках визиря таилось столько богатств. Только вот за те два года, что на холме свирепствовала чума, он позабыл, что богатства не даются даром. Юсеф-паша пришпорил коня, досадуя, что мысли о визире до сих пор не выветрились у него из головы. Он старался держаться поближе к холму, чтобы объехать его вокруг, но лабиринт улочек уводил его в сторону, и, миновав крытый рынок с каменной аркой и самым большим в городе караван-сараем, Юсеф-паша со своей свитой вдруг оказался на главной торговой улице. Это было широкое вонючее болото, высыхавшее только в жаркие летние дни, а сейчас заполненное зловонной жижей. Оставшийся с зимы мусор разлагался под лучами весеннего солнца, в грязи валялись полуразложившиеся тушки животных, а посреди улицы лежал труп лошади со вздувшимся животом. Мясники, работавшие в разбросанных повсюду лавках, швыряли кишки и требуху прямо в грязь, и вонь, неприятно поразившая Юсефа-пашу на всех торговых улицах, здесь была еще нестерпимее. Кони нерешительно ступили в жижу и остановились. По обе стороны улицы тянулась насыпь, по ней, перепрыгивая с камня на камень, пробирались прохожие. Юсеф-паша увидел, как двое гяуров толкают друг друга, словно бараны, не в силах разминуться, потому что одному из них пришлось бы ступить в

грязь. В результате оба соскользнули с насыпи и, стоя по колено в мутной жиже, продолжали обмениваться тумаками, без особого, впрочем, усердия, так как оба старались не испачкаться больше, чем уже успели. Наблюдая за ними, Юсеф-паша раздраженно подумал: „Истинно сказано: земля погибла бы, если бы аллах не держал людей на расстоянии!“ Он повернулся к Даву-ду-аге, тот махнул рукой Фадилу-Беше, и Фадил-Беше, подскакав к дерущимся, ударом бича свалил с ног обоих и, не обращая на них больше внимания, тут же вернулся к своим.

– Здесь нам делать нечего! Веди нас, Абди-эфенди, к мечети Шарахдар! – приказал Юсеф-паша, разворачивая коня, и вся свита переулками послушно поскакала к холму.

V

Абди-эфенди с мрачным видом ехал чуть впереди паши.

С тех пор как основатель их рода согласился надеть на себя чалму и получил от падишаха небольшое имение в долине, на холме родилось несколько поколений его потомков. Со смертью родоначальника с имением пришлось расстаться, так как оно давалось без права наследования, и жизнь целого поколения прошла в бесплодных попытках вернуть его. Хорошо еще, что старик догадался вовремя прикупить земли с постройками на холме и в городе, где и поселились его потомки. Люди обедневшие, они тем не менее помнили, что когда-то принадлежали к знатному роду, и, разрываясь между памятью о славном прошлом и сознанием незавидного настоящего, держались гордо, независимо и надмен-

но. В роду их были разные люди, в основном парикмахеры и не очень удачливые менялы, перекупщики товаров и смотрители весов, но поскольку все они считали, что люди нуждаются в них больше, чем они в людях, счастье улыбалось им нечасто – несмотря на памятливость и недюжинные способности. Иногда их род являл миру и людей другого склада: высокомерие выражалось у них не в холодной отчужденности и замкнутости, а в истерической задиристости, дерзких выходках, безудержном пьянстве и других безумствах. Такие кончали плохо, редко доживали до старости или еще в молодости бежали в чужие края и больше не появлялись в городе на холме.

Еще в детстве Абди-эфенди сумел понять, что сильные и слабые черты характера передаются в их роду по наследству, и старался сохранить первые и всеми силами бороться со вторыми. В медресе ему повезло с учителем, который помог ему развить присущее их роду ученолюбие. Он был совсем юношей, когда его заметили в конаке и назначили младшим писарем, причем Абди-эфенди, научившийся к тому времени обуздывать гордыню, на первых порах старался держаться в тени, не брезговал лестью, чтобы понравиться нужным людям, и в конце концов сумел заполучить солидную должность, а вместе с ней и достаточно высокое положение. Одной из первых жертв чумы стал главный писарь, а у визиря не нашлось на примете своего человека, поэтому он назначил Абди-эфенди своим заместителем и не ошибся. Абди-эфенди играючи справлялся с работой, а главный писарь в такой большой, а главное, богатой области был важной фигурой. От его взора ничего нельзя было скрыть, как ничего нельзя было предпринять без его согласия. Он мог оттянуть или ускорить решение важного вопроса, в его власти

было разрешить или запретить. Еще никому в их роду не удавалось взлететь так высоко, но сознание этого не вскружило ему голову, и Абди-эфенди продолжал делать вид, что нуждается в людях больше, чем те в нем. Впрочем, он хорошо знал себе цену и надеялся, что она не упадет.

Прошлой ночью жизнь его дважды висела на волоске. Второй раз его спас Юсеф-паша, и хотя Абди-эфенди не дрожал за свою шкуру, проснувшись на заре, он был искренне рад пощаде. Первый раз он спас себя сам, ибо за долгие годы службы научился предусмотрительности, и она подсказала ему закрыть глаза на отчаянный знак, безнадежно поздно поданный визирем. Если бы тогда он призвал албанцев, это стоило бы многих жизней, в числе прочих мог погибнуть и он, а возможно, и мубашир. Он спасся, но и спас! У осторожного писаря было множество причин не похваляться своим поступком, но достаточно было и одной: он понимал, что людям в его положении выгоднее благодарить господина, чем ждать от него благодарности. И Абди-эфенди молчал, хотя его распирало желание поделиться тем, что он сделал, молчал, уверенный в том, что так он сохранит свое достоинство и то, что сближало его с Юсефом-пашой. И монету вручил он ему не для того, чтобы угодить, а для того, чтобы показать свою готовность приобщиться к святому делу. Писарю была хорошо знакома эта выпуклая золотая монета, она прошла через его руки, один гяур – известный в городе торговец зерном, принес ее в качестве выкупа за дочь, взятую в гарем одного из турок, служившего в охране конака. И хотя девушка провела в гареме уже неделю, визирь, увидев золото, приказал охраннику отпустить ее и подобрать себе другую, постарше, а не такого ребенка. Абди-эфенди знал, что делает, поэтому смирял

свою гордыню, как смирял ее в течение многих лет, и когда он поворачивался к паше, в его взгляде была только твердая решимость служить ему верой и правдой.

Перекосив холм, всадники спешились перед обрушившейся оградой мечети Шарахдар. С первого же взгляда было ясно, что когда-то мечеть эта была христианским храмом. Вход в мечеть украшал свод из темно-серого зернистого камня, по нему на выцветшем алом фоне была выведена золотом надпись: „Свидетельствую: нет бога кроме аллаха и Магомет – пророк его“. Кое-где штукатурка осыпалась, и под ней проступали очертания креста. По мокрой траве Юсеф-паша молча обошел постройку. Она была воздвигнута на небольшом клочке земли, почти на краю ложбины, за которой снова начинался пологий склон холма с неровными рядами жилых построек. Минарет, высившийся над провалившейся крышей, был поставлен на старую кладку в более позднее время и потому сохранился лучше, а с площадки муэдзина наверняка просматривались даже самые дальние дворы. С другой стороны храма, на самой кромке обрыва, густо росли деревья и какие-то колючие кустарники, закрывавшие обзор.

Следуя за пашой, Абди-эфенди понимал, что с минуты на минуту последует вспышка гнева, и готовил слова оправдания. Осыпанные молодой красноватой листвой ветки диких орехов заглядывали в окна мечети, водосточные трубы зияли ржавыми ранами, дождевая вода глубоко разъела швы каменной кладки, и писарь, двадцать лет старавшийся не появляться в этом месте и пораженный открывшейся ему картиной упадка, неслышным шепотом корил себя за опрометчивость.

– Кто виноват в этом безобразии? – резко останав-

ливаясь,спросил Юсеф-паша. – Есть прямой виновник? Кто он?

– Есть, Юсеф-паша. Мустафой звали этого горемыку. Безумец наложил на себя руки, бросившись с минарета и извергая хулу на всевышнего. Он разбился вон на тех камнях, несчастный. Говорят, в одночасье скончался.

Юсеф-паша, задрав голову, взглянул на минарет, но не проронил ни слова, и поэтому писарь, прокашлявшись, продолжал:

– Грех Мустафы – грех святотатства, самый страшный грех, печать которого легла и на нас. Он осквернил святое место, и оно пришло в запустение... Великий, непростимый грех...

– Судить и прощать – в воле аллаха! – резко оборвал его паша. – Не терплю праздных слов. Ты, Абди-эфенди, слышал, отчего покончил с собой несчастный?

– Да, Юсеф-паша. От любви... От любви, глупости и безделья.

– Родственники, друзья остались? Ты, говоришь, его звали Мустафой? А кто эта женщина? Она здесь?

– У женщины этой, Дилбесте ее звали, и сестры, и мать, и отец – все померли от болезни, да не оставит их своей милостью всевышний. А о его родственниках мне ничего не известно, Юсеф-паша. Многих мы тогда похоронили.

Абди-эфенди, бесстрастно прищурившись, смотрел куда-то в сторону, где простирались поля и разбросанные по холму дома, а паша думал о том, что самоубийство это случилось давно, задолго до того, как визирь начал править на холме, и что мечеть в то время была уже заброшена, а следовательно, его прямой вины в этом быть не могло.

– Ладно, что сделано – то сделано, каждый из нас

грешен перед всевышним, – пробормотал он. – А теперь, Абди-эфенди, слушай меня внимательно! Немедленно отправляйся в путь и сам, не поднимая шума и никому не говоря ни слова, разыщи всех родственников и той женщины, и Мустафы. Узнай, кто в какую нору забился и чем промышляет. До захода солнца я должен знать всё. Потом я скажу тебе, кого и когда привести!

Юсеф-паша повернулся и первым покинул двор мечети Шарахдар, но, не успев сделать по крутому склону и двадцати шагов, остановился, в изумлении глядя себе под ноги. Казалось, какой-то исполин прогрыз холм в этом месте, проглотил огромный кусок земли и камня, оставив на скалах белые следы зубов. Ряды широких мраморных сидений спиралью уходили вниз, в нескольких местах их рассекала лестница, и все это напоминало разрезанную надвое гигантскую воронку, которая легко и стремительно сужалась книзу, заканчиваясь ровной площадкой с настилом из плит. Позади площадки возвышалось какое-то строение с колоннами и арками, между которыми стояли оставленные варварами каменные идолы – изображения обнаженных мужчин и женщин, дерзко взирающих вверх, туда, где стоял Юсеф-паша. Под арками зияло жерло тоннеля, укрепленного прочными коричневатыми глыбами, площадка пересекала его, но за ней тоннель продолжался до верхнего конца воронки, пробивал ее и уходил под холм. Все это, вычищенное до белизны дождями, сооружение поблескивало в ласковых лучах солнца, на сидениях нежились какие-то оборванцы, с высоты казавшиеся муравьями, настолько огромным и головокружительным было это строение язычников.

– Ч-ч-то это? – заикаясь от изумления, спросил Юсеф-паша, и Давуд-ага, стоявший за спиной своего повелителя, поспешно ответил:

– Наверное, осталось от не знавших письменности идолопоклонников. Как в Магрибе…

– Знаю, знаю! – раздраженно оборвал его паша, оглядываясь по сторонам.

Он не впервые видел подобные останки в мире истинной веры и поразился не их величию, а тому, что не заметил амфитеатра ни во время поездки по городу, ни теперь, когда осматривал окрестности со двора мечети. В этих землях он не встречал ничего подобного! Чтобы спуститься, пришлось пойти в обход боковыми тропинками и улочками, и, ступив на мрамор, паша почувствовал, что проваливается в его каменные объятия. Мраморные глыбы лежали, плотно прижимаясь друг к другу, тяжелые и неподвижные, все было связано и пригнано, как будто разом сработано только вчера. Юсеф-паша вглядывался в выщербленные ступени. Миллионы раз люди должны были пройти по ним, ступая на одно и то же место, чтобы камень стерся так сильно. Несметное количество ног, несметное количество лет… Эта штука построена не вчера… А поставленная выше мечеть Шарахдар казалась смиренной букашкой, и позеленевшая обшивка минарета едва заметно возвышалась над кронами деревьев. Как будто время отвернулось от этой каменной громады варваров, позволив ей жить вечно, и с непримиримой яростью вцепилось в храм всевышнего, чтобы кромсать его, рушить и перемалывать, пока он окончательно не сровняется с землей. Неправильно это, несправедливо… Ведь то сооружение служило богохульству и невежеству, а священный храм – истине и спасению. Позор, позор для правоверных! Чем больше размышлял Юсеф-паша, тем сильнее он гневался, нетерпеливо похлопывал короткой плетью по сапогам, пытаясь успокоиться, чтобы решить, с чего начать и не устроить ли

выволочку всем живущим на холме важным персонам во главе с усердным, но так же важничающим Абди-эфенди.

К полудню явился Абди-эфенди и сообщил, что он не ошибся: никого из родственников Дилбесте не осталось, да и самой ее нет в живых, а из братьев Кючука Мустафы двое давно куда-то запропастились, третий умер, мать прибрал всевышний, так что жив только его отец, побирающийся на рынках. Юсеф-паша наконец позволил себе отдохнуть и, когда проснулся, снова отправился с Давудом-агой в мечеть Шарахдар, внимательно осмотрел ее снаружи и внутри, прикидывая, что потребуется для ее восстановления. Потом спустился в амфитеатр и в молчании обошел его из конца в конец и сверху донизу.

Теперь, в сумерках, он стоял на площадке пятиугольной башни, которая возвышалась над холмом и откуда как на ладони был виден весь его хребет – изогнутый полумесяцем, одним рогом спускавшимся в реку, Лишь в одном месте полумесяц этот был выщерблен с внешней стороны, словно из него выгрызли кусок живой плоти – там, где белел амфитеатр. „Я выровняю знак всевышнего, клянусь, я выровняю этот полумесяц, и он снова воссияет как прежде, – с радостью подумал Юсеф-паша. – И мечеть Шарахдар заблистает как никогда“. Он уже принял решение и успокоился, а это вернуло ему чувство безмерной любви ко всему миру. С этого места и в этот час город казался ему намного красивее, чем увиденный днем. Минареты свечями горели в лучах заката – Юсеф-паша насчитал их тридцать, но потом сбился; свинцово-серые башни караван-сарая, купола бань и крыши стоящих на самом холме богатых домов скрывали от глаз грязь и соломенные хибары, приземистые лавчонки и вонючие харчевни,

поэтому ему снова казалось, что аллах щедро одарил эту землю своей милостью. „Всевышний ведет нас прямым путем и благословляет истину", – думал Юсеф-паша, спускаясь с башни.

VI

Абди-эфенди уже ждал его в конаке с отцом Кючука Мустафы. Старик лоснился, словно его обдали жиром, и от страха или удивления не догадался сказать даже „добрый вечер". Но после того, как сначала перед ним поставили плов, а потом угостили и кофе, он приободрился, а уж когда Юсеф-паша достал кошелек и отсчитал ему несколько крупных монет, бедняга окончательно пришел в себя. От волнения он не знал, куда спрятать золотые, и то совал их в свои лохмотья, то вынимал снова, и был готов отвечать на любые вопросы, о чем бы его ни спросили. А Юсефу-паше именно это и требовалось – узнать всю подноготную о жизни и смерти его сына.

...Кючук Мустафа не был меньшим из братьев и прозван был малышом совсем не из-за малого роста. Он был довольно высок, тонок в кости и хрупок, как ветка орешника, и даже возмужав, остался похожим на юношу, даже не на юношу, а на девушку – стройную, кудрявую и миловидную. Кожа на слегка смугловатом лице оставалась гладкой, а когда на подбородке стала пробиваться бородка, пушок оказался редким и блестящим. Красивую бороду отпустил Кючук Мустафа, вилась она крупными темными кольцами, и люди любовались его свежим лицом, украшенным миндалевидными глазами под ровными дугами бровей.

Красота его была не мужская, и слишком он был

беспечен для бедняка. Ленца водилась за ним еще с детства, стоило появиться какой-нибудь работе, как он мигом прятался за спинами братьев, но отец, отчитывая лентяя, быстро отходил, поддаваясь обаянию его красоты, да и братья без обид взваливали на себя его долю, ибо был у Кючука Мустафы божий дар – прекрасный голос. Пение его было чистым и сладостным, песня взмывала под облака и пронзала сердце. Каждый вечер отец просил его спеть, и Мустафа, неохочий до всяких просьб и отлынивающий от всяких дел, принимался петь охотно и неутомимо.

Так, полюбив пение, он со временем научился подыгрывать себе на сазе, а научившись, не расставался с ним ни на минуту, забыв обо всем на свете, в том числе и о хлебе насущном. Уже с утра саз потренькивал в их запущенном саду, потом струны переставали бренчать и позвякивать, а принимались петь вместе с Мустафой, причем еще упоительней. Когда летними вечерами он поднимался на скалы и начинал играть, звуки музыки прохладным дождем стекали с холма на торговые ряды, смывали пыль с людских душ, и тот, кто умел ценить песню, восклицал: „Машалла! Браво!“ Вскоре к Мустафе стали липнуть всякие бездельники, повесы и отпрыски богатеев, они заманили его в свою компанию и стали таскать по вечеринкам и разным сборищам, устраиваемым то в принадлежащих беям загородных домах, расположенных на берегу моря, то, как часто бывало зимой, в разбросанных вокруг холма трактирах. Развлекая их своим пением, он поначалу смущался, как девушка, но потом обвыкся и перенял все их манеры. Кючук Мустафа перестал ночевать дома, оставаясь спать, где играл, и отец его напрасно бранился и выкрикивал угрозы, напрасно сломал однажды саз, потому что сын, пропавший после этого на целую

неделю, вернулся домой с новым, еще большим сазом. Пирушки кормили Кючука Мустафу, в его кошельке завелись деньги, но те же пирушки подружили его со стаканом, пристрастили к виноградной водке – ракии.

Наверное, там же, в своих скитаниях, он и прослышал о Дилбесте. Остряк ли какой подшутил над ним, старая ли сводница нашептала, будто Дилбесте, наслышавшись его песен на скалах, огнем горит и страдает по Кючуку Мустафе. Кючук Мустафа знал Дилбесте с детства, и хотя она жила на другой стороне холма, встречался с девчушкой возле ее дома, задирал ее, и она как овечка бежала от него на задний двор и пряталась среди смоковниц. Потом он встретил ее уже девушкой, с закрытым яшмаком лицом, несущую тетке корзину, полную плодов, и только розовые пятки, видневшиеся из-под шараваров, как бы намекали на то, какая роскошная плоть скрывается под широкими одеждами. Человеку не дано знать, один аллах ведает, как начинается эта болезнь и до чего она может довести. Любовь не ходит проторенными тропами. Может, они перекинулись парой слов среди смоковниц, может, когда-то в глазах ее заметил он особый блеск, а может, все дело было в розовых пятках –КючукуМустафе было довольно любой причины. Его ум часто занимали небылицы, из них он создавал свой мир, из них рождались его истины и песни. Парень любил давать волю своим фантазиям и бредил ими так, что ни сам он, ни другие не могли разобраться, где сон, а где явь. А еще Кючук Мустафа был рабом своих желаний, не умел скрывать их, поэтому вскоре весь холм судачил о его любви. Мустафа прятался в камнях возле дворика своей зазнобы, выжидал, когда за занавеской мелькнет ее рука, а затем перед товарищами, требовавшими сказать, где он пропадает, певец живописал эту руку и,

вздыхая, налегал на ракию. И если кто-то, подразнивал его, говорил, что Дилбесте и знать не знает, Кючук Мустафа, вскипая, начинал размахивать шелковым платочком, будто бы полученным от девушки, и небольшим, расшитым жемчугом, кошельком, в котором хранился его подарок Дилбесте – золотое сердечко.

Кючук Мустафа не только рассказывал, но и распевал о Дилбесте и о своей любви. Песни этой никто раньше не слышал, ее сочинил сам Мустафа, и не было у него другой такой сладкоголосой песни. Не заставляя себя упрашивать, он касался своими длинными пальцами струн и, смежив веки, запрокинув голову, начинал выводить нежную мелодию, и голос его, вначале низкий, идущий как будто из глубины, взлетал над кронами и словно устремлялся к волшебной башне, макушка которой терялась в облаках. Задержавшись там на миг, он стремглав падал вниз, да так, что сердце заходилось от радости и от страха, и именно это стремительное падение в песне было прекраснее всего. Мелодия падала на землю, но не разбивалась, в ней просто появлялись первые гортанные звуки, потом они снова взмывали ввысь и снова падали, и люди ненасытно внимали новой песне Кючука Мустафы.

А какой красавицей представала Дилбесте в этой песне! Дерзкий поэт выставлял ее на всеобщее обозрение как яблоко, с которого срезана кожура. Он срывал с нее в песне чадру, и взгляд ее обжигал ему сердце, он тянул к ней руки и пытался прильнуть к ее губам, но она отпархивала, как птичка, но не улетала, потому что сама была в плену у сладкой истомы любви.

Несчастный совсем, должно быть, лишился рассудка, если посмел так расписывать девушку из соседней слободки. Отец однажды предупредил его. „Мустафа,

– сказал он ему, – народная мудрость гласит: женщину, коня и табак не хвалят, дабы никто не позарился". В ответ Кючук Мустафа рассмеялся и заявил, что к песне это не имеет никакого отношения, что песня – это совсем другое дело, но старик, хоть и был темным, возразил ему: песня тогда другое дело, когда поется в ней о чем-то нездешнем, чего никто своими глазами не видел и что можно понять только душой, а дом Дилбесте у всех на виду, все знают ее отца и младших сестер. Старик почти не ошибся: песня пошла ходить по городу, и те, кто подхватывали ее, но никогда не видели самой Дилбесте, спрашивали, кто она и откуда. Мужчины сочувствовали Мустафе, видя его сердечные му́ки, завидовали его счастью, бездельники шептались: „Нам бы попалась такая красотка, и мы бы радовались и страдали!"

Все это чуть не погубило доброе имя Дилбесте. Хорошо еще, что Кючук Мустафа сумел настоять на женитьбе, а отцы легко договорились о выкупе и приданом и к концу второй недели приложили пальцы к составленной кади бумаге. И если до этого Мустафа только распевал о своем счастье, то теперь он познал все радости любви. Кроме отцовского дома, в их дворе стояло еще два домишка – в одном жил старший брат Мустафы, уже женатый, а в другом зажил он с Дилбесте, отгородившись от брата плетнем. В их комнатах слышались песни и смех, алые шаровары Дилбесте мелькали за кустами самшита, она проворно устраивала семейное гнездо и была полна светлых надежд.

Но веселье продолжалось недолго – с осени до лета. Кючук Мустафа легко мог прокормить себя, играя на праздниках и по трактирам, но теперь у него была жена, а вскоре в их домишке должна была появиться еще одна живая душа. Взял он вой саз и отправился вроде

бы на заработки, но домой не являлся дня по два, а то и по три, как привык делать раньше. Дилбесте, одна-одинешенька, оставалась в доме часто без крошки хлеба, вся надежда ее была на то, что или старуха-свекровь сжалится над ней, или золовка сунет кусок через плетень. Возвращаясь, Кючук Мустафа старался смотреть весело, но в его миндалевидных глазах, красных от дыма и выпивки, застывало виноватое выражение, как у побитой собаки. Он объяснял, что ему опять пришлось ждать конца кутежа, чтобы получить деньги. Дилбесте выбегала из комнаты, прятала лицо за чадрой, и не песни – раздраженные выкрики слышались за их дверью. Известно, беда не приходит одна: Дилбесте разрешилась до сроку, мальчик родился мертвым, она долго не вставала с постели, увядая, как тронутый инеем стебелек. Мать ее, прибегавшая к дочери, выходя, кляла всех на чем свет стоит, да так, чтобы слышали и хозяева, и соседи. Родственники Мустафы понимали, кто в этом виноват, но ругань старухи бесила их, и постепенно все они ополчились на саму Дилбесте. И неизвестно, как бы жили молодые дальше, не постучись в их двери первое несчастье.

Оправившись после болезни Дилбесте как-то раз скользнула за ворота, и старший брат Мустафы увидел, что она переулками и дворами идет в сторону безлюдного и скрытого от людских глаз местечка на холме. Проследив за ней, он спрятался в кустах, решив узнать, что ей там надо. Ждал он недолго – из-за груды камней поднялся мужчина, в котором он узнал Хасана, известного своим позерством и распущенностью сына Хюсри-бея. Усы Хасана были вечно подмочены соплями, лицо опухшим от пьянства и разврата, но в его поясе всегда позвякивали золотые монеты, и если ему не удавалось нанять Кючука Мустафу, он платил цыга-

нам, и они пели и плясали для него по кабакам. Заметив его, Дилбесте вздрогнула и быстро пошла навстречу, они о чем-то заговорили, взявшись за руки, словно давали обет, и брат Мустафы, не дожидаясь, когда они укроются за валунами, с воплем бросился к ним и одним ударом кулака в затылок свалил бейского сынка на землю. Ругаясь, как извозчик, он вцепился в Дилбесте, чадра упала, и брат впервые увидел белое, как воск, лицо своей снохи. Эх, как же врал, как врал Кючук Мустафа насчет ее красоты! Без долгих размышлений он одной рукой схватил ее за платье, второй – впился в худосочную шею Хасана и поволок их к дому. Его ругань, рыдания Дилбесте – все это заставило людей повыскакивать из домов, и каждому было ясно, что красотку застукали с чужим мужчиной. Дилбесте упиралась, визжала, клялась и божилась, что встретилась с Хасаном только для того, чтобы продать ему то самое золотое сердечко, что подарил ей Мустафа, и показывала всем ладошку, в которой действительно поблескивала золотая безделушка. Но кто мог ей поверить, да и как было верить, когда ее застали ни с кем-нибудь, а с Хасаном, сынком Хюсри-бея? Со двора выскочила мать Дилбесте, запрыгала вокруг, сняла с ноги домашнюю туфлю и принялась охаживать ею брата, крашеными хною ногтями норовила разодрать ему лицо, истошно вопя, что это она, она послала дочь продать эту вещицу, она уговорила сына бея купить ее, иначе Дилбесте сдохла бы с голоду в этом проклятом доме, а брат, защищаясь, только мычал что-то, уже не соображая, кто прав, кто виноват.

Меньше чем через час Дилбесте собрала пожитки в узлы и, не дожидаясь прихода Кючука Мустафы, покинула оскверненное семейное гнездо. А сплетня молниеносно настигла ее мужа на площади, он помчался

домой и, не успев отдышаться после [illegible], набросился с кулаками на старшего брата, в щепки разбил саз, вопил и метался, хватался за нож, грозя зарезать то Хасана, то Дилбесте, но братья и отец, навалившись, отобрали нож, раздобыли виноградной водки, настоенной на особых травах, и к рассвету Мустафа обмяк и повалился в тяжелый пьяный сон.

Утром лучи осеннего солнца заиграли на стенах казавшейся пустой без Дилбесте комнаты и на щеках Мустафы, тихонько постанывающего, кутающегося в простыни и не желающего вставать. Таким он был – как порох вспыхивал в первом приступе гнева и сам не знал, что мог натворить, но если в такие минуты комуто удавалось набросить на него узду, слепая ярость его укрощалась, он обмякал, как тряпка, и тода из него можно было веревки вить. Как там ни суди и ни ряди, а вернуться к прежнему значило опозориться еще больше, Кючук Мустафа должен был расстаться с Дилбесте, как того требовали закон и вера, поэтому после полудня они с отцом отправились к кади.

В то время судьей был дряхлый, желтый как кукурузный початок старик, изведенный болезнями и желчной раздражительностью, которому давно опротивели и судейство, и весь мир. До него тоже дошел слух об измене и оправданиях Дилбесте. Увидев отца с сыном, он прогнал их, посчитав, что будет нелишним выслушать и женщину, но вскоре ему пришлось раскаяться в том, что он отправил их восвояси. Если бы он знал, что они начнут таскаться к нему чуть ли не каждый день, что ему придется терпеть таких свидетелей, что в это дело вмешается столько народу, что даже дома ему не станет от них покоя и что родственники будут судиться из-за каждой тряпки и каждого гроша, отравляя своими дрязгами его старость, он тут же раз-

рубил бы узы, связывающие Мустафу и Дилбесте, а уж там пусть другие терзаются сомнениями из-за того, насколько справедливым было его решение.

И как прежде любовь Мустафы всколыхнула обитателей холма и городской площади, точно так же их разрыв теперь вызвал оживленные пересуды, люди спорили и осуждали, высказывали предположения и защищали, точно они были судьями и должны были установить истину. Сын Хюсри-бея Хасан как ни в чем ни бывало целыми днями просиживал в кофейне, и на вопрос о том, верно ли болтают люди, со смущенным видом охотно отвечал, что держал в своей руке сердце Дилбесте, и из-за этой напускной застенчивости развратника вся эта история начинала казаться еще омерзительнее, местные сладострастники понимающе подмигивали ему, и он растягивал рот в улыбке, ладонью прикрывая гнилые зубы. Кади призвал и его, без обиняков спросил, было у него что с этой женщиной или нет, на что Хасан снова сказал, что она предложила ему свое золотое сердечко и он немного подержал его в руках, только и всего. Уклончивый ответ заставил судью скривиться, и если бы на месте сына Хюсри-бея оказался кто другой, он приказал бы всыпать ему двадцать ударов кизиловыми палками по пяткам, а тут пришлось сдержаться и просто прогнать его вон.

В доме Кючука Мустафы братья, стуча кулаками по столу, требовали вернуть калым, как это предусматривалось в брачном договоре в том случае, если Дилбесте умрет в первый же год или окажется негодной женой. В доме же Дилбесте никому и рта не давали открыть насчет возвращения калыма: во-первых, никто не заботился о бедняжке, как того требовал закон, да еще и безвинно выставили за дверь, а во-вторых, весь калым успели потратить – половина пошла на приданое

меньшим сестрам, а другую половину растранжирила сама Дилбесте со своим бездельником. Там не только никому ничего не собирались возвращать, но и требовали, чтобы им вернули то, что еще оставалось от приданого в доме Кючука Мустафы. Ее мать, загибая пальцы, перечисляла, что именно осталось, и на кади обрушилась лавина претензий и исков вместе с толпами старух и просто дураков, доказывающих, что у Дилбесте была какая-то шубка, а ее тетя действительно подарила ей моток пряжи, и сколько зарабатывал Мустафа, и как в дни байрама он сунул в руку тестю золотую монету. Слушая весь этот вздор, судья чувствовал, как огромная игла впивается в его желчный пузырь, и проклинал себя за то, что зимой, в мороз, он ради этой чепухи должен был тащиться на другой конец холма, дабы рассудить безумцев по законам шариата. Развод затянулся настолько, что даже постоянно отирающимся у площади сплетникам надоело пережевывать одно и то же, а судью он доконал окончательно, и в один прекрасный день кади, заскрипев зубами, разогнал всех родственников до одного, а приговор его гласил: все вещи должны оставаться на своих местах, а мужу и жене отныне не разрешается ни видеться друг с другом, ни разговаривать. И хотя Дилбесте и Кючук Мустафа редко являлись к нему с претензиями, он пригрозил обоим, что прикажет заковать их в кандалы и посадить в холодную, если они еще раз появятся ему на глаза.

Тем дело и кончилось, и если раньше Мустафа только пел о своих страданиях по Дилбесте, теперь он действительно страдал от жгучей боли. Подолгу пропадая в саду, он, валяясь на только что пробившейся траве, часами наблюдал за то сходившимися, то разбегающимися в разные стороны облаками, стал редко выходить за ворота, а однажды принес новый саз и принялся ти-

хонечко наигрывать и напевать что-то унылое и протяжное, но вскоре забросил его и занялся птичками – канарейками и щеглами. От любовной тоски и душевных терзаний он таял, как свечка; в глазах, казавшихся огромными на осунувшемся лице, появился нездоровый блеск, лоб прорезала тонкая морщинка. То ли он не мог забыть Дилбесте, то ли не давало покоя чувство вины – никому и ни в чем он так и не признался, но и привыкнуть к безделью и компании птичек не смог и однажды в мае, собрав узелок и поцеловав на прощанье руку сначала отцу, а потом и матери, отправился куда глаза глядят.

Родители не пытались остановить его, поскольку никогда не рассчитывали, что Мустафа останется с ними. Два года Мустафа не подавал о себе вестей, и мать уже тайком оплакивала гибель сына. Но в один прекрасный день, опять-таки в мае, скиталец возвратился – окрепнувший и повеселевший, с деньгами в кармане, с подарками для всех домочадцев. Вскоре стало известно, что почти все это время он просидел в столице султана, зарабатывая песнями и прислуживанием в богатых домах, и что половину из этих по́том заработанных денег он отвалил за дом, стоявший за пять дворов от отцовского. Отделился Кючук Мустафа и заперся в четырех стенах, не желая видеться ни с кем из своих старых приятелей. Никто не знал, чем он там занимался и о чем думал, тогда ли ему пришла в голову эта мысль или он с нею никогда не расставался, только втайне от всех передал он Дилбесте подарок. Отнесла его одна армянка с добрым сердцем, продававшая по домам катушки ниток и полотно для вышивания, вот она-то и стала передавать просьбы и любовные послания Кючука Мустафы. Конечно, это было сумасбродством, но с какой бы стороны ни обдавал ветерок душу Мустафы,

он раздувал все тот же костер, нежные языки которого выжгли ему все нутро, и не залить его было ракией, не затушить в далеких городах. Он долго умолял ее, и в конце концов Дилбесте, настрадавшаяся от одиночества и позора, уступила. Когда они впервые тайно встретились у армянки, обоим было трудно начать разговор и обоим было не по себе, Дилбесте вздрагивала от каждого шороха и жалась к торговке. Они встретились второй раз, потом третий, и вот однажды из-под паранджи показалась тонкая рука, и Кючук Мустафа поймал ее, начал гладить, забываясь, как во сне, ибо в своих снах он часто видел это и не мог поверить, что такое возможно наяву. В этот раз он не стал распевать о Дилбесте, ни словом не обмолвился о своих планах. И когда однажды ночью молодая жена по мостовой прибежала в его дом, на следующий день только родственники знали, что разведенные сошлись снова.

Старики встали на дыбы, сестры и братья хмурились, понимая, что об их неповиновении закону пойдет худая молва, да и память о взаимных обвинениях была еще свежа. Слушая их, Мустафа морщился и отвечал, что это не мимолетный каприз, что Дилбесте пришла к нему не на день и не на два и что теперь он с благословения всевышнего заживут по-другому. И чтобы соблюсти законы адата и шариата, отправился к кади просить о новой женитьбе и новом договоре.

Услышав его просьбу, судья икнул, схватился за сердце и велел убираться. Но Кючук Мустафа решил не отступать, идти ему больше было некуда, и он не подчинился. И тем самым накликал большую беду.

– Хочу, чтоб все было по закону, кади-эфенди, – просительно вымолвил он.

– По закону? – пожелтевшие морщинистые щеки старика затряслись от негодования. – А ты знаешь, па-

рень, что это такое – закон, да и не ты ли уже переступил через него однажды? Или ты хочешь снова взбудоражить весь город слухами и заставить меня на склоне лет опять заниматься скандалами и сплетнями? Советую тебе бросить чудить, заняться делом и подыскать себе другую жену, иначе вам обоим несдобровать. Сырыми дровами печь не растопишь! Добром советую – подумай!

Молчал Кючук Мустафа, но с места не двигался.

– Зачем ты снова стучишься в ту же дверь? – угрюмо спросил судья. – Да ты взгляни на себя – ведь и красив, и молод.

Поскольку Мустафа не отвечал, старик добавил:

– Что, любовь, да?

– Любовь, – поднял на него глаза певец и покраснел.

Кади, словно вспоминая о чем-то, готов был усмехнуться, но вместо этого недовольно скривил губы, поднялся с лавки и, окинув Мустафу с ног до головы пристальным взглядом, сказал, потирая бок в том месте, где у него покалывала печень:

– Любовь... Громкое слово произнес ты, Мустафа. Но как мне поверить в твою любовь, коли вы однажды уже растеряли ее, отдали на поругание толпящимся на площади сплетникам? Громкое слово... На любви все держится, и прежде всего – на его любви, – кади ткнул пальцем в потолок, – но и на нашей тоже. Но любовь требует сил, сил и доказательств. Сможешь ли ты доказать свою любовь, Мустафа? Ты и Дилбесте? Вы ведь оба должники, и словам вашим веры нет.

– Смогу, кади-эфенди! – с улыбкой ответил Мустафа. – Только как можно доказать любовь? Ну, вот он я, что мне делать? Спеть песню?

– Мне не до шуток, парень! – вскипел кади. – Я тебя от беды хочу уберечь, а ты и слушать не хочешь! Тебе

бы только токовать, как тетереву. Пойми, то, что ты торчишь здесь, да еще собираешься петь – это не доказательство любви. А теперь ступай домой, придешь ко мне через три дня, тогда и посмотрю, не поумнел ли ты. Если одумаешься, хорошо, нет – поступим по закону, раз ты настаиваешь, только потом не пожалейте и не обижайтесь на меня с Дилбесте, не вините во всех бедах. Всё, я тебя предупредил!

Кади запер за ним дверь на щеколду и, полистав коран и книгу канонов адата, принялся размышлять о законе, который всплыл в его памяти совсем недавно. Это был древний закон, все о нем давно позабыли, но никто его не отменял и не запрещал. Он был писан именно для таких людей, как Кючук Мустафа и Дилбесте. Они ведь тоже хотели завязать развязанный узел, как говорилось в законе, а зачем они его сначала развязали? Прелюбодеяние никто не доказал, но никто ведь и не опровергнул. И хотя брат Кючука Мустафы не присягнул, что видел, как оно было совершено, помыслы Дилбесте остались висеть, как на паутинке, колеблясь тяжело и осуждающе. А разве не сказано, что помыслы судят, помыслы человеческие? Да, иначе зачем нужно было убегать Дилбесте из дому, зачем нужно было выгонять ее? Если отбросить молву и шум, оставалось одно – прелюбодеяние. Все вроде бы подпало под закон, и все же кади не сразу решил, закрыть ему глаза на это или, наоборот, открыть. Много лет судил он, но не случалось ему еще прибегать к этому закону, не знал он, как отнесутся к нему, как поведут себя люди. Любопытство царапало душу, а любопытство столь старого и опытного человека, которому из-за болезней белый свет совсем опротивел, было вещью опасной. Были тут и соблазн, соблазн и честолюбие успеть за время судейства от начала до конца прило-

жить все законы шариата. Многие ли способны на такое, и встретится ли ему еще один такой человек?

Противоречивые чувства обуревали душу старого кади, осторожность боролась с любопытством, старческая усталость с упорством долголетнего служителя закона, за эти три дня ожесточился судья еще больше, он морщился и охал, прикладывая горячие кирпичи к желчному пузырю, и росла его ненависть к Кючуку Мустафе и Дилбесте, которые во второй раз лишали его покоя. И когда парень снова пришел искать защиты закона, такой же упрямый и все так же сияя от радости, кади лишь проронил:

– Ладно, будь по-твоему!

И назначил ему день и час, наказав явиться только с Дилбесте и не заботиться о свидетелях.

Близилось время обеда, когда сначала он, а потом и она вошли в его кабинет. Переступая порог, Мустафа вздрогнул, увидев стоявшую вдоль стены троицу известных в городе архаровцев, поодаль от которых со сложенными на груди руками важно прохаживался приглашенный из конака писарь. Подумав, что они пришли до сроку, оба повернулись, чтобы уйти, но кади раздраженно поманил их рукой:

– Сюда, сюда, вас ждем!

Окна комнаты были заклеены бумагой, пахло плесенью и пóтом, как всегда желтый судья суетливо переставлял стоявшие перед ним перья, торопился, и это мешало Мустафе спросить себя, свидетелями ли пришло столько народу и для чего позвали трех хорошо известных ему бездельников, зачем здесь крутится писарь. Несмотря на это, в душе его зашевелилось неясное беспокойство, кожей своей он чувствовал присутствие за спиной чужих людей, ему стало не по себе и захотелось как можно скорее уйти вместе с Дилбесте.

– Неделю назад я кое-что объяснил Мустафе, предупредил его, – сразу же приступил к делу кади, – но повторю еще раз для Дилбесте, чтобы она услышала это из моих уст, ибо на одну доску с ним встала она и по одному закону ответят оба.

Он повернулся к Мустафе:

– Ты все еще хочешь взять эту женщину в жены?

– Да.

– По любви?

– По любви.

– Ты, женщина! Хочешь ли ты вручить себя этому мужчине и по любви ли делаешь это? – скрипуче вопросил он.

Потеребив чадру, Дилбесте ответила.

– Ты сказала „да“? Не слышу, повтори! – склоняясь над ней, потребовал кади.

– Да, – снова вымолвила женщина.

– Ну так послушайте теперь старика. Бесценна любовь, ибо она есть начало добра. Поэтому все мы стремимся к ней, а найдя, берем под свою защиту. Любовь услаждает наши души, возвышает, объединяет и сама рождает любовь между людьми, чтобы приумножить силы их и довольство.

Кади выпрямил сутулую спину и, задрав голову, смотрел мимо Мустафы и Дилбесте, взгляд его блуждал по двери, было ясно, что все слова он приготовил загодя и теперь певуче выговаривал их, словно читал пятничную проповедь в мечети.

– Любовь кладет камни жизни и способна из ничего сделать дом, – бубнил кади, – она выбрасывает за порог все недоброе и порочное. И потому после заблуждений в вере на втором месте по своей пагубности должно стоять заблуждение в любви. Ужасно обмануться в ней! Нет, мы не должны обманываться в любви! – с

ожесточенным вдохновением повторил кади, а все присутствующие с напряженным вниманием слушали слова, преобразившие весь облик обычно апатичного старика. – Не должен человек обманываться, Мурад ли его зовут или Мустафа, ибо все пойдет у него наперекосяк, дорогое подешевеет, и ложь подкосит его тогда, когда он меньше всего ожидает этого. Но еще хуже то, что, обманывая себя, такой человек обманывает всех нас, обманывает всю мусульманскую общину, вместе с ложной своей любовью сея в ней гнилые семена раздоров и разрухи. И это приводит к тому, что все, что мы одобряли и поддерживали, чему мы радовались и на что надеялись, оказывается попорченным гнилью и вместо того, чтобы приумножать добро, уничтожает его. Вот почему нам необходима сильная любовь и сила в любви! Услышали ли вы меня, поняли ли?

– Поняли. Аллах творит то, чего мы не ведаем! – откликнулся кто-то из свидетелей.

– Ну коли так, я продолжу. Разум и сердце учат нас не допускать в любви сомнений. Ибо где есть сомнение, там должно быть и испытание! Дорогое дорого потому, что очищалось и защищалось. Что поддается огню, да сгорит! И как во славу всевышнего истинный правоверный готов принять любые му́ки и даже смерть, так и во славу любви любящий должен уметь вытерпеть любую боль, любые унижения, любое зло. А если нет, так то была не любовь, обман был, своенравие и баловство. И тогда больше не поддавайся обману, человек, не терзайся и не обманывай и не терзай других! Так я говорю?

Никто не ответил ему, и кади сурово указал на Кючука Мустафу и Дилбесте.

– Посмотрите на них. Возникли ли между ними сомнения? Возникли. А теперь они заявляют, что пришли

ко мне с любовью. При свидетелях спрашиваю их: то, что вы считаете любовью, способно ли пройти через му́ки и испытания, чтобы показать, что оно есть на самом деле? Ибо от обманутой однажды любви двойная сила требуется. Готовы ли вы к этому?

– О каких муках и каких испытаниях ты говоришь, кади-эфенди? – раздраженно спросил Мустафа. – Мы пришли к тебе как мирные люди подписать договор и никому мешать не собираемся.

– Я спрашиваю, готовы ли вы подвергнуть себя испытанию, чтобы, как того требует закон, у меня были доказательства вашей любви и я мог с чистым сердцем скрепить ваш договор? Если нет – уходите, пока не поздно!

– С помощью аллаха, мы готовы! – ответил Мустафа, испугавшись, что кади снова отправит их ни с чем.

– Ну ладно! Вы слышали, что сказал вам старик и как он растолковал вам закон. Теперь вы должны увидеть и сам закон в действии!

Кади замолчал, стало слышно, как бьется на потолке испуганная муха, и пока Кючук Мустафа размышлял, потребуют ли с него денег в залог за женитьбу или что другое, хлопнула дверь и в комнату неуверенно вошел Хасан-бей. Взгляд его гноящихся глаз робко перебегал со старика на женщину, кади поощряюще кивнул ему, и Хасан шагнул вперед и бесстыдно схватил Дилбесте за руку. Только теперь до Мустафы дошло, что значили туманные речи кади и в какую западню их заманили, но ему так и не удалось прижать Дилбесте к себе и оттолкнуть Хасана, потому что на него навалились двое других свидетелей – один схватил его сзади, а другой бросился ему в ноги, они сбили его с ног и как полено оттащили назад; барахтаясь и сопротивляясь, он сильно ударился носом. Дилбесте коротко и пронзи-

тельно вскрикнула, и больше Мустафа не слышал ее голоса, двое других свидетелей и бейский сынок повалили ее, и сквозь пелену выступивших от удара слез, мельтешение рук и ног извивавшийся на полу Мустафа увидел разорванную до колена штанину ее шароваров, а над ней прыщавую голую спину Хасана. С этого момента он ослеп и оглох, перестал чувствовать боль и тычки, все силы, идущие от него к внешнему миру, собрались внутри, сжались вокруг какого-то зверского косматого клубка в его утробе, сделав его жестким, и клубок этот царапался, кусался и рычал, и никто не мог ни поранить его, ни раздавить.

А судья, стоя в противоположном конце комнаты, остекленевшим взглядом смотрел на валявшиеся по полу, пыхтящие и стонущие человеческие тела. Это и был закон! Этого он и хотел! Если супруги расстанутся из-за прелюбодеяния жены, но потом решат сойтись снова, муж должен в присутствии кади и свидетелей увидеть, как его женой обладает другой мужчина – ради поучения и проверки. Такого ему еще не приходилось испытывать. И вот оно!

Рот кади наполнился густой слюной, казалось, желчь сочится прямо из-под языка, страх сковывал его члены, он был бессилен обуздать закон и прекратить его действие, смертельное отчаяние охватило при мысли о том, что не будет ему больше покоя до конца жизни. Внезапно тело судьи сотряслось от проклятий, он выхватил из-под подушки на лавке портновский аршин и в яростном иступлении стал хлестать им направо и налево.

Отрезвев и перепугавшись не меньше судьи, все сломя голову бросились вон. Хасан, как гусак прыгая вприсядку, пытался на ходу завязать гашники, но его постоянно сбивали с ног, в дверях возникла свалка и,

наконец, мужчины бешено выкатились на безлюдную в обеденное время улицу. В комнате осталась лежавшая в беспамятстве Дилбесте, а по улице мчался впереди всех Кючук Мустафа и время от времени выкрикивал:

– Врут! Про любовь!.. Врут!

Все разбежались по дворам, а он, не останавливаясь и не видя ничего вокруг, перекосил холм и вбежал в открытые двери мечети Шарахдар. Прошло слишком мало времени, чтобы жесткий клубок в его утробе мог рассосаться, желание мстить, вопить от обиды и изменить случившееся еще не угасло, как это произошло бы через день-два, душу его распирало что-то бесформенное, но очень важное, он должен был рассказать людям и богу о любви, о себе и Дилбесте, о кади и Хасане, сыне Хюсри-бея. Посреди мечети, поджав ноги, сидел на коврике какой-то то ли дремавший, то ли созерцавший собственный пуп дервиш; промчавшись мимо него, Кючук Мустафа открыл дверцу, ведущую к минарету.

Оттуда были видны все дома на холме, весь город, оттуда его должны были услышать всевышний и люди, и сильный ясный голос Мустафы донес до неба и земли бессвязные, лишенные смысла слова. Он проклинал и умолял, он грозился и плакал, напрягая голосовые связки, он пытался донести до ушей и тех, кто был на земле, и тех, кто обитал на небесах, что любовь – это совсем другое, что земля и небо без нее превратятся в пустыни и что другим должен быть закон, не замечая, что многие повыходили из домов, удивляясь поднятому в такое время крику. Пустыми казались ему притихшие внизу дома и синее небо над головой. Кючук Мустафа тянул к домам руки, словно желал поделиться с ними собой, но коротки были руки его и велико расстояние,

с площадки муэдзина он перегибался все ниже и ниже, пока земля и небо, на мгновение поменявшись местами, не понеслись навстречу друг другу, и в месте их столкновения грянул гром – то алой молнией взметнулась кровь Мустафы.

А вечером в корчме сидел за уставленным закусками столом Хасан, сын Хюсри-бея, и на специально расчищенном для этого месте лежал перед ним синенький вышитый платочек, а на нем – то самое золотое сердечко, которое подарил когда-то Кючук Мустафа своей Дилбесте. Давно уже купил он его через знакомого менялу и всегда держал в своем поясе – чтобы было под рукой в нужный момент. Чуть позади него стоял новый певец, недавно появившийся в городе, и хорошо поставленным голосом выводил знаменитую любовную песнь, сочиненную Мустафой о Дилбесте. Звуки ее взмывали над закопченным потолком корчмы, уносились в заоблачную высь, а затем с ужасом и радостной надеждой неслись обратно к земле как будто затем, чтобы, ударившись в ее твердь, высечь мириады искорок, которые зажгут сердца тоской и счастьем того, кто придумал эту песню. В восьмой раз Хасан, сын Хюсри-бея, платил певцу за эту песню, и все не мог наслушаться. Этого-то он и хотел – чтобы в руке его лежало это сердечко, для него пели эту песню, ему принадлежала красота Дилбесте, и все бы знали, что это так. Он мечтал об этом столько лет, с тех пор, как впервые услышал эту песню от Кючука Мустафы и увидел его подарок, еще тогда в душу его запал образ Дилбесте, сотканный дерзким воображением певца. Слишком много милостей выпало тому оборванцу – и любовь, и красота, и талант, слишком много и совсем не по чину, когда сам Хасан, плативший за все чистым золотом, вынужден был довольствоваться отбросами

и обществом продажных девок. Хасан и не пытался размышлять о том, почему ему не помогли ни золотые монеты, ни опытные сводницы, но вдруг ненароком пришел на помощь старый кади; ленивому мозгу казалось, что сам он, Хасан, молод и красив, что он непревзойденный певец, что Дилбесте трепетно ждет его под смоковницей и сейчас он встанет и пойдет к ней, приласкает, повесит ей на шейку это сердечко. Соперника больше нет, и все, что раньше ему принадлежало, теперь перешло в собственность Хасана, это так, это сама истина – вот он талант, вот она песня, и пусть все видят, кто такой Хасан, и бейский отпрыск самодовольно приказывал хозяину не жалеть ракии, не замечая гневных взглядов завсегдатаев корчмы.

На улице, прячась в тени навеса, младшие братья Мустафы терпеливо дожидались, когда закончит кутеж бейский сынок. И когда тот выскочил на улицу, чтобы облегчиться, они подскочили к нему с кольями наперевес и били, дубасили его до тех пор, пока сердца не утолили жажды мести, пока не выдохлась их ярость. Наутро явившийся за телом стражник Хюсри-бея не мог разобраться, где у Хасана был затылок, а где лицо. Братьев же с тех пор никто не видел, и, конечно, никто толком не искал; посланный на их поимку стражник, заглянул в два-три села, однако сгонял в них своего коня больше ради жареных цыплят и пышных пирогов.

Не внял Хасан, сын Хюсри-бея, приказу старого кади помалкивать и никому не рассказывать о том, что случилось в судейской комнате. Не удержался от соблазна похвалиться и поплатился за это, остальные же затаились и никто так никогда и не узнал, кто были те свидетели и насильники. Молчал и кади, ибо не был обязан посвящать посторонних в тайны законов шариата; согнувшись крючком, он проходил через холм

и еще засветло запирал ворота. Зимой он умер, наконец навсегда избавившись от телесных страданий и той тревожной неясности, которая не позволяла ему до конца разобраться в том, должен ли он стыдиться или гордиться тем, что поступил с Кючуком Мустафой и Дилбесте по закону.

Дилбесте тоже ни слова не сказала родным, после того дня она позволила им запереть себя в одной из комнатушек отцовского дома и по целым дням пряла пряжу, тем и зарабатывала себе на хлеб. Люди постепенно стали забывать о ней, а те, кто помнил, с трудом распознали ее в старухе, впервые вышедшей за порог своего дома в тот год, когда на холме вспыхнула чума. Дилбесте отправилась помогать страждущим – обтирать мокрой тряпкой пылающие лбы заболевших, смачивать водой их потрескавшиеся губы, и хотя здоровое население холма знало о ее милосердии, высохшую фигурку в черной чадре, мелькавшую за заборами, считали чуть ли не самой чумой и встречаться с ней избегали. Вообще-то побаивались ее с основанием: там, где появлялась эта старуха, в доме или разгоралась, или уже полыхала чума. А она безмолвно и неутомимо сновала по домам с кувшином уксуса в руках, как будто считала своим долгом подобрать все семена какого-то проклятия, спрятать это проклятие у себя на груди. Болезнь хвостом вилась вокруг нее и однажды настигла Дилбесте в чужом доме, где ее и скосила смерть, не дав испытать последней радости видеть участливые лица родственников. Когда по прошествии времени могильщики вынесли ее обезображенный труп, никто из оставшихся в живых не мог опознать Дилбесте или поклясться, что она умерла, а не подалась вслед за чумой в другие края. Так уж получилось, что страшная болезнь внесла путаницу не только в жизнь, но и в смерть лю-

дей, а старую любовную песню вдруг снова стали петь в те трудные времена, и молодые уже не спрашивали, когда и где жила эта красавица и кто был первым ее воздыхателем. Знавшие историю песни недовольно морщились, ибо она заставляла их вспоминать о страшном грехе и обрушившихся стенах мечети Шарахдар, и не давала возможности забыть, что когда-то рядом с ними радовались жизни и страдали юная Дилбесте и грешник Мустафа…

– Так жил и умер мой сын, паша-эфенди, – закончил к середине ночи свой рассказ отец Кючука Мустафы. – И не мне судить его через столько лет. Но, похоже, я последний из живых, кто знает правду, – со старческим тщеславием хихикнул он. – С тех пор много воды утекло, и ничего не вернуть… А мечеть Шарахдар первым покинул ее имам, проклял ее во всеуслышанье, и Мустафу проклял, и наказал никому не переступать ее порога. Вот как дело было. И осталось нас двое – я да мечеть Шарахдар. Постепенно превращаемся в развалины, но еще кое-как держимся. Ох, паша-эфенди, тяжело жить после смерти детей, тяжело и грешно!

И старик, всхлипнув, заплакал о том, над чем только что смеялся.

Юсеф-паша, почти не прерывавший его рассказа вопросами, встал, задумчиво хмурясь, а Давуд-ага, возникший из глубины комнаты, пошел провожать старика. Когда оба были уже на пороге, Юсеф-паша вернул своего слугу.

– Прикажи проводить его и тайно поставь соглядатая у его дома. С завтрашнего дня следить за тем, куда он ходит и о чем говорит, и быть готовым доставить старика ко мне, как только он мне понадобится. Он, наверное, понадобится и тебе, Давуд-ага.

Потом паша сам погасил свечи и в темноте долго

стоял у окна, размышляя о делах, предстоящих ему на следующий день.

VII

Наутро Юсеф-паша пригласил в конак на холме всю городскую знать. Первым прибыл новый кади с тремя подчиненными ему наибами, затем с шумными приветствиями в кабинет вошли смотритель спахийских владений и мюхтесиб, у которого хранились списки жителей области, начальник стражи и другие знатные лица, среди которых был и сердар Элхадж Йомер. Явились имамы крупных мечетей, и только после них порог переступили чиновники помельче: надсмотрщики, сборщики податей, старшина торговцев. Входили и другие приглашенные, всех их встречал Абди-эфенди и рассаживал по стоявшим вдоль стен лавкам. Кабинет быстро наполнился народом, оглядевшись вокруг, чиновные люди несколько успокоились, полагая, что мубашир не стал бы собирать весь цвет города только для того, чтобы наказать. В основном это были люди немолодые, давно освоившиеся в коридорах власти, успевшие познать как радости власти, так и приносимые ею огорчения. Никто из них не спросил о визире, никто не задавал никаких вопросов и никто не жалел о нем, как в свое время никто не хотел его назначения сюда, но совсем не потому, что считали его плохим человеком или слабым правителем и противились его назначению. Просто на дереве власти его ветви росли намного выше их ветвей, но, поражая дерево, молния не заботится о ветках, а чаще всего раскалывает пополам ствол и опаляет все вокруг. И теперь те, кому удалось подобраться к веткам визиря поближе, смущенно

озирались, ища поддержки окружающих и теша себя надеждой, что со времени первой расправы уже миновали целые сутки, а все потрясения, вызываемые властями империи, сами же эти власти старались использовать для того, чтобы объединить разъединенных и напуганных подданных, не вызывать волнений в имперском море и укрепить безопасность имперских берегов. Вопрос теперь был в том, какой ценой будет куплено объединение и смогут ли они поторговаться, ибо каждый отдавал отчет в том, что новый правитель потребует от них пожертвовать чем-то из их спокойной и сытой жизни.

– Ну вот мы и собрались… Посмотрим, какой знак божественной милости нам предстоит узреть… – раздался голос, и все собравшиеся обратились вслух. Говорил Нуман-бей, крупнейший в области владелец земель, отправлявший груженные рисом баржи целыми караванами. Поставщик двора Нуман-бей носил на своей феске султанский вензель, и этот знак высокого покровительства вместе с его богатствами давал ему право первым брать слово, никому не уступать без борьбы и предъявлять властям свои требования.

Как будто по знаку Юсефа-паши из покоев визиря вынырнул Фадил-Беше, сопровождаемый Давудом-агой и группой стражников, которые встали у дверей и уже не двигались с места до конца встречи. Юсеф-паша специально для гостей облачился в зеленую, расшитую серебром накидку из плотного шелка, повязал голову новенькой зеленой чалмой, носки его сапог блестели. Худощавый, подтянутый, он казался моложе своих лет, упругой походкой подходя к месту, где раньше восседал визирь. Абди-эфенди принялся представлять собравшихся, и паша каждому кивал так, будто бы был наслышан о нем и сейчас очень нуждается в его помо-

щи, не отводил взгляд и охотно давал собравшимся возможность изучить свое лицо и попробовать отгадать свой характер. Впервые увиденное, лицо это казалось обыкновенным, с правильными чертами, ни одна из которых не выдавала каких-либо особенностей его характера. Но вместе с тем каждая отдельная часть лица словно бы тайно шептала что-то соседней – подбородок губам и носу, нос – глазам и лбу, казалось, все они обмениваются новостями, хотя оставались неподвижными. Все они, довольно угловатые, как ни странно, выглядели совершенно гармоничными и правильно расположенными, а взгляды незнакомых людей, не в силах устоять перед соблазном, старались расшифровать тайные послания, передающиеся от глаз к носу и от носа к подбородку, и это притом, что они даже не были уверены в существовании тайны. Взгляд наблюдателя скользил как бы по стеклу, уставал и смещался; человеку начинало мниться, что за гладкой этой поверхностью скрывается что-то такое, за что ему никак не удается ухватиться, нечто весьма важное, и раньше он пытался разгадать совсем не то, что надо, а потому, продолжая всматриваться в лицо паши, он начинал беспокоиться и пугаться от бессилия обнаружить главное и прочитать его на этом правильном, кажущемся таким обыкновенным лице.

Однако в кабинете нашлось немного смельчаков, дерзнувших подолгу задержать взгляд на лице посланца из столицы. Как только Абди-эфенди закончил ритуал представления, паша нараспев, словно читая молитву, негромко произнес:

– Пусть аллах наставит нас на путь истинный!

Подождав, пока утихнут возгласы, выражавшие согласие и надежду на благоволение всевышнего, Юсеф-паша продолжил:

– Оставим скорбь и гнев наши в прошлом. Любовь заставила нас пройти через эти испытания, и теперь она надеется увидеть свидетельства того, что мы достойны сделать благочестивое усилие. Хвала справедливости всевышнего!

При этих словах присутствующие облегченно вздохнули, десятки глаз взглянули на пашу с выражением благодарности и преданности.

– Давайте же оставим знак того, о чем говорят наши языки, чему мы верим в своих душах и что подтверждаем сердцами. Тем самым мы послужим ниспосланному нам свыше вероучению. И дабы не сидеть нам сложа руки, давайте прежде всего займемся вот чем. Храм, некогда превращенный из средоточия лжи в средоточие истины, вновь разрушается темными силами лжи, разрухи и беспутства. Всем вам известна мечеть Шарахдар, вы знаете, как плачут по ней ваши сердца. Мы снимем с нее неосторожно вырвавшееся когда-то проклятие и вознесем ее к небесам в своих хвалебствиях. Нужны согласие и искренность намерения, без чего невозможно благочестивое дело. Это первое!

Он замолчал, ожидая ответа, и вот из рядов имамов поднялся пожилой ходжа.

– Может, стóит поговорить о причинах проклятия, паша-эфенди? И о причине греха, ставшего его причиной?

В вопросе угадывалось несогласие и желание поспорить, но он порадовал многоученого пашу, потому что был задан таким образом, который как нельзя лучше предлагал возможность пуститься в отвлеченные рассуждения, в чем паша был намного сильнее любого из присутствующих, и скрыть подлинные причины самоубийства Кючука Мустафы.

– Все в этом мире имеет свои причины, – начал он

благожелательно, обращаясь к сидевшему поблизости от него Нуман-бею. – И каждая причина становится следствием, а следствие превращается в причину другого следствия.

Нуман-бей понимающе кивнул, но тут же отвел взгляд, поскольку слова паши показались ему непонятными и пустыми. Между тем паша продолжал:

– Любая мелочь окутана множеством причин, как личинка в коконе. Что же тогда говорить о причинах намерений и воли человека? Что мы знаем о них? Намерения и воля суть причины действия – как действия грешника, так и действия проклинающего его, ибо нет действия без воли и намерения действовать. Все мы чувствуем, что намерения и воля рождаются в душе, преисполненной мотивами, но лишь всевидящему известна причина таящихся в душе намерений. Никому из нас не дано понять, что творится в человеческой душе, чем она держится. Это ведомо одному аллаху! И устами своего пророка он говорит нам: „Дарована вам только малая часть знания!“ Этого достаточно. Сто́ит ли упоминать о том, что даже когда нам известна какая-либо причина, нашим незрячим глазам не прозреть того, как порождает и направляет она то, что последует за ней. Идущее из души нашей всегда шире того, что мы знаем или о чем догадываемся! То же самое с грехом и с проклятием! Ища всему причины, ходжа-эфенди, не впадаем ли мы в словоблудие, не бросаем ли вызов божественному знанию? Ответь мне!

В рассуждениях этих для Юсефа-паши не было ничего нового, он читал об этом, слышал от людей мудрых еще в своей молодости, и хотя касались они возможности измерить глубину божественного промысла, сейчас они оказались как нельзя кстати, чтобы уйти от разговора о судьбе несчастного Мустафы. Задетый

имам должен бы ответить, хотя служители конака бросали на него укоризненные взгляды, не одобряя праздного спора.

– Стар я, и храни меня всевышний от легкомыслия и непокорства, – храбро сказал он. – Но все мы слышали и все мы знаем о Кючуке Мустафе – отец его жив. Вот я и спрашивал о Кючуке Мустафе.

– Мой ответ о нем и был, мудрый человек, – вкрадчиво и вразумляюще промолвил паша. – Вы поняли это, уважаемые?

– Поняли, почтенный! Не нам судить о делах всевышнего! Нужно очистить мечеть Шарахдар от старой скверны и дать ей новую жизнь! И хватит об этом! – с неожиданной горячностью вступил в разговор Абди-эфенди, сидевший, как ему и наказал паша, за низеньким столиком и готовый записывать, как простой писарь.

Юсефа-пашу порадовало такое обращение, выражавшее почтение к людям большой учености, понравилась ему и неожиданная страсть, соединенная с твердостью, с которой поддержал его Абди-эфенди.

– Ты слышал одно, уважаемый, а я знаю другое, – все также любезно продолжил он, догадываясь, что вступает на нетвердую почву. – Но что известно нам – зернам плода? А если я скажу тебе: не грешник он был, а шахид, свидетель дел ваших и истинный мученик, которого аллах приблизил к своему престолу и который жаждет снова спуститься на землю, чтобы снова принять мученичество? Поверишь ли ты мне? Поверишь, если я скажу тебе, что как мученик умер он, и не грех толкнул его на это, а любовь... любовь к творению божьему, а то, что видел и слышал ты – призрачный самообман? Грешником был тот, кто проклял мечеть Шарахдар, ибо служила она для того, чтобы объеди-

нять нас и через молитвы наши соединять с всевышним, а не для того, чтобы служить разменной монетой, которой мы оплачиваем свои мелкие делишки – мы, недостойные. Не проклятие заслужил Мустафа, а святую гробницу, где вечно бы горела свеча за упокой души его! И быть тому! Вот истина! Может ли среди вас кто-то под клятвой заявить обратное?

С каждым словом паша все больше возвышал свой голос, и последний вопрос угрозой повис в комнате. Все молчали, было слышно, как стучат в окно ветки молодого вяза, встревоженного пробежавшим по двору конака порывом ветра. Наконец Нуман-бей, выпятив грудь, бесцеремонно заорал:

– Пораскиньте умом и послушайтесь совета, если хотите себе добра! Сказанного достаточно! Золота на ремонт скорее всего нет. А раз так, знайте, что на богоугодное дело это я даю…

И в запале он назвал такое количество золотых, какое вовсе не собирался.

Люди одобрительно зашептались, раздались возгласы, каждый обещал больше, чем могли бы потребовать от него в соответствии с чином, даже Элхадж Йомер торжественно объявил, что на днях его солдаты получат из столицы жалованье и что янычары пожертвуют на мечеть Шарахдар два кошелька серебра. Хотя и более сдержанно, имамы тоже пообещали дать деньги. Абди-эфенди вел записи, а паша кивком головы подозвал Давуда-агу и, хмурясь, отправил его из комнаты вместе с Фадилом-Беше. Когда шум стих, он поднял руку:

– Нужно посмотреть, в каком состоянии находится принадлежащее мечети недвижимое имущество, ни одного гроша нельзя давать на сторону! Потом мы и ее увидим – рожденную истиной и возвращенную исти-

не, чистую с головы до ног. И потому – второе! Все вы знаете, что находится в ногах мечети Шарахдар. Творение варваров, бессмысленно огромное и бесстыдно дерзкое! Холм слишком тесен для него! И потому оно должно исчезнуть, дабы не пачкать грязью подножия мечети Шарахдар и не отвлекать взглядов правоверных! Таково повеление!

Повесив головы, собравшиеся принялись размышлять, что значат эти слова и как на них отвечать, поскольку, если б им и вправду что-то мешало, они узнали бы об этом раньше любого человека со стороны.

– Так мы его унаследовали, паша-эфенди, – наконец заговорил сухой старик. – Что было можно, мы вытащили и сожгли, а все остальное прочно крепится под скалой, это не то, что толкнешь, а оно рассыпается. И огонь его не берет.

– Ты сказал: унаследовали? – обрадованно воскликнул Юсеф-паша. – Но разве ты не слышал, что писано: аллах унаследовал землю и все, что над ней. Лишь он обладает полнотой знания! Ты сам сказал: из-под земли выходят строения варваров, из-под земли холма, как из могилы, а что находится под землей, под землей и останется! Мы закидаем все землею и каменьями!

Несколько человек осторожно переглянулись, как бы спрашивая, не ослышались ли они и всерьез ли этот человек, на встречу с которым они шли с такой боязнью, требует, чтобы они занялись этой пустой затеей. Но и за шутку принять его слова было нельзя: Юсеф-паша оглядывал присутствующих испытующим взглядом, плечо его нервно подергивалось.

– Все-таки наша собственность, – вздохнул сухой старик.

– Пророк учит, единственное, что нам принадлежит, это то, что ты съел или уничтожил, носишь или

износил на спине, то, что ты дал как милостыню или потратил. Так знайте же! Камни те станут нашими только после того, как мы уничтожим их! Без этого они не наши! В поднебесье счастливой державы нашей, – паша поднял вверх палец, – нашим является лишь то, что уничтожено нашей ненавистью ко всему чужому или любовью к всевышнему. Недалеко простирается жизнь твоя, уважаемый, и не нашлось в груди твоей места для истин вероучения и мудрости власти нашей.

Старик сжался на своем месте, а Юсеф-паша добавил:

– Один мудрец предупреждал: „Никогда не воспевай чужие руины“. Слушайте и вникайте!

И он прочитал им стих на том древнем языке, на котором он впервые прозвучал много столетий назад, лишь двое или трое имамов сумели понять его и довольно закивали, шепотом благословляя мудреца. Они были польщены собственным знанием и обрадовались не столько выраженной в стихе мысли, сколько случаю показать разницу между собой и собравшимися здесь неучами, а тем самым свою принадлежность к близким паше кругам. Остальным же показалось, что имамы одобряют замысел посланца из столицы, и если в начале они колебались и отнеслись к нему с недоверием, то теперь все смирились с его решением.

А Юсеф-паша боролся с соблазном объяснить этим людям, что, засыпав древние развалины, они разгладят концы священного знака, ниспосланного небесами и вселявшего в него веру в непоколебимую безошибочность его дела. Он чувствовал, что слова бессильны растолковать сей знак, если он остался незамеченным внутренним зрением, и поэтому сказал только:

– Вернем же холму то, что у него было отнято! Сотворим чудо, уважаемые! Пусть над останками воспа-

рит к небу новая земля, наша земля, чистая и, чего раньше никогда не бывало, рукотворная! Слышите? Новая земля родится из наших благочестивых усилий! – Юсеф-паша повторил это еще раз, впервые за все утро чувствуя неподдельное волнение. Решение его было обдуманным, но только теперь, говоря о нем, он осознал, какое божественное вдохновение снизошло на него, когда в голове созрела мысль засыпать амфитеатр. Разве кто другой создавал новую землю? Праведная, воинственная и всесокрушающая любовь шестикрылым взмахом вознесла Юсефа-пашу к полям вседержителя, в висках запульсировало радостное возбуждение, вызванное волшебным полетом, который не дано было ни увидеть, ни испытать остальным. – Как ни мала будет эта земля, – продолжил он задушевно, – она соединит земли на краю холма в священный кулак. Не будет она ни продаваться, ни покупаться, оставаясь навечно собственностью мечети Шарахдар, а тот, кому мечеть отступит там место, должен будет платить ей за это. Священная земля! Поэтому вам предстоит согнать население на внеурочные работы, и где только есть телеги, послать сюда возить землю! На месте решим, что и как, а пока…

– Дорого обойдется нам эта земля, – не скрывая недовольства, непочтительно прервал его Нуман-бей. – И вот что я спрошу: сколько же времени тебе, паша-эфенди, понадобится на это чудо? Долго ли продлится это?

– Нужно напрячь все силы, уважаемый Нуман-бей, и сделать это в кратчайший срок. Остальное в ваших руках!

– Вот что я скажу, – бей прищурился. – Ты можешь делать, что решил. Зачем – твое дело. Ты человек ученый, молодой, силы в тебе есть. Ты хорошо говорил,

и хотя своей старой головой я не все уразумел, наверное, говорил правильно. Одно ты должен знать. Много народа потребуется для этой работы, много рабочей скотины. Добрые посевы риса взошли в этом году, да хранит нас всевышний, а когда приходит время убирать урожай, мы весь народ сгоняем на уборку. И еще нужно знать тебе – быстро созревает рис, коротко здесь его лето.

– Зато день долгий, Нуман-бей, а жизнь наша так коротка для богоугодных дел! – ответил паша, поворачиваясь к нему всем телом. – Кого жалеешь?

Бей хмурил густые, как бурьян, брови, морщил лоб, гневаясь на эту скрытую угрозу. Коснувшись вензеля на феске, отчеканил:

– В груди моей нет места жалости. Любой скажет. Неверных мне не жаль. Однако во время жатвы народ свой я отправляю на поля. И с полей – ни шагу!

– Ты лучше позаботься о том, чтобы собрать урожай с полей веры нашей, бей-эфенди. Аллах не оставит тебя в старости без пропитания! – негромко, но раздраженно отрезал Юсеф-паша и, повернувшись к остальным, возвысил голос: – До начала уборки закончим! Вот вам Абди-эфенди, а вот – кади! Они подчиняются мне, вы – им, рая неверных – вам! Через два дня здесь должны быть лучшие мастера, которые займутся восстановлением мечети! С завтрашнего дня начать работы по засыпке! Я выслушал вас и вас понял! Как я сказал, так и будет! Пустых разговоров не желаю, жалости не ждите! За заминки буду наказывать, за неповиновение – карать! Аллах велик и всемогущ!

И он быстро поднялся с лавки, так и не попотчевав собравшихся густопенным кофе и благостными речами, к чему они успели привыкнуть при визире. Вместо этого кади и Абди-эфенди принялись растолковывать им, как приниматься за дело и как вести себя дальше.

VIII

На следующий же день холм огласился скрипом первых трех телег, груженных землей. Улочка, ведущая к древней постройке, была крутой и тесной, телеги с трудом втискивались в нее, волы постоянно упирались в ограды, оглобли трещали, колеса с трудом преодолевали рытвины и крутизну, крестьяне зло переругивались, размахивали палками, жалея скотину, остервенело подталкивали телеги, под вонючими тулупчиками уже побежали первые струйки пота, и когда, наконец, погонщики добрались до амфитеатра и вытащили канаты, доставленные ими кучи земли показались песчинками на краю гигантской воронки.

Абди-эфенди самолично явился проверить, как идут работы по засыпке амфитеатра. Не подчинившись кади, он отказался от надзора за мечетью, выбрав для себя более трудное дело, и кади охотно согласился. Ему было ясно, что с такой дорогой работа застопорится, что нужно расширить и выровнять ее, поэтому писарь, приказав погонщикам ждать, отправил своих людей в отдаленные слободки и в торговые ряды собрать всех шатающихся без дела неверных. Человек пятьдесят с мотыгами и заступами пригнали после обеда, принявшись расчищать и выравнивать улицу и, углубившись всего лишь на пядь, наткнулись на более древнюю улицу, мощенную крупным булыжником. Подневольные работники двинулись по ней, снесли пять-шесть жалких лачуг, стоявших на пути, а затем стали расширять и укреплять мостовую, вбивать в нее каменные сваи, предотвращающие откат телег, и через несколько дней улица сама вывела их к амфитеатру.

Дела сдвинулись с мертвой точки, и Абди-эфенди успокоился, телеги и люди хлынули вверх равномер-

ным мощным потоком. Телохранители беев, городские стражники и личная стража Юсефа-паши сгоняла неверных из близких сел и предместий, люди с ленивой апатией выходили на работы, не спрашивая, ни чем они занимаются, ни зачем это нужно. Привыкшие ко всему, они знали, что, однажды попавшись, спастись могли только тем, что до конца будут тянуть свою лямку, и вопрос о том, как отзовется это на судьбе других, не отягощал их совесть. Сначала было сказано, что работников распустят после того, как каждый сто раз доставит на холм землю: возница – сто телег земли, хозяин коня или мула – сто лошадиных мер, безлошадного и бестележного, рассчитывавшего только на собственный горб, ожидали сто мешков – тогда всяк был волен бежать и прятаться.

С высоты казалось, что оставленный ударом хлыста черный след прорезал холм и весь город до самых предместий, и по этому следу от темна до темна тянулись вереницы людей и телег. Землю копали в бесплодной пустоши, с каждым днем котлован становился все глубже, выбрасывать землю наверх становилось все труднее, а там на нее набрасывались, дрались за каждую горстку, остервенело грызлись люди, которых грабили так жестоко, что обмана от равных себе они спустить уже не могли. Односельчане и слободчане вскоре разбились на артели – одни копали, другие сторожили и грузили наверху, стены котлована внезапно рушились, и однажды он стал братской могилой для нескольких раздавленных оползнем землекопов. Время от времени в него срывались телеги вместе с волами; разваливаясь на куски, они калечили животных, однако никто не смел начать копать в стороне, ибо вокруг колосились нивы Нуман-бея, а бурьян, растущий на разграничительной меже, был таким же колючим и

устрашающим, как брови бея. Вымотавшись на землеройных работах, люди отправлялись в путь, а за городом им предстояло самое трудное – взбираться по круче.

В начале мощеной улицы телеги, лошади и люди скучивались, медленно, надсадно ползли вверх, ибо немногим удавалось двигаться так, как позволяли собственные силы, большинству приходилось подчиняться общему, изнурительному рваному ритму, телеги срывались вниз, врезались в морды измученных волов, взмыленные кони сбивались с шагу на гладких камнях мостовой, приседали и нередко падали, и тогда из судорожно разинутых ртов их хозяев неслись нечленораздельные проклятия, потому что приходилось отвязывать и снова грузить тяжелые мешки, задерживая весь изнемогающий поток, лошади раздували бока, с усталых морд стекала слюна и пена, меж телег и навьюченной скотины, согнувшись пополам под тяжестью мешков, шатаясь, пробирались горожане, молясь о том, как бы не попасть под телегу и устоять на ногах в толчее, ибо подняться после падения не хватило бы сил ни у кого.

Каждый старался нагрузиться сверх всякой меры, но иначе и быть не могло. Наверху, где кончался подъем и после небольшой горбинки улица спускалась к амфитеатру еще метров на десять, их поджидали поставленные Абди-эфенди надсмотрщики. Они не пропускали никого, основательно не проверив, и если телега была загружена не до краев или чей-то мешок казался им недостаточно полным, они заставляли хитреца высыпать землю и не засчитывали ему подъема на холм. Каждому неверному была выдана рабочая бирка, осмотрев груз, надсмотрщики тесаком ставили на ней зарубку, а потом, когда несчастный представал

перед ними вновь, перечеркивал ее, ставя отметку каждый раз на новом, только им известном месте. Люди беспокойно топтались в очереди, с каждым днем становившееся все более жарким солнце быстро сушило вспотевшие головы и прилипшие к плечам рубашки, здесь можно было немного расслабить мышцы и переброситься парой слов.

– Мне осталась теперь половина, а тебе, Стоян?

– Вчера начал, мать их, в доме все бросил!

– Шевелись, шевелись, парень!

– А ты, видно, разбежался решетом воду носить...

– Я смотрю, коровенка твоя долго не протянет.

– Типун тебе на язык.

И испуганный хозяин, крестясь принимался охапкой сена вытирать бока разгорячившейся, как лягушка, корове.

– Эй, Турхан-ага, будь человеком, поставь еще одну зарубочку! – насмешливо и дерзко обратился к одному из надсмотрщиков большоголовый селянин с длинной, никогда не ведавшей бритвы спутанной бородой. – Порадуй Пенку! – он махнул рукой в сторону брыкающегося рядом осла. Видно было, что он знаком с Турханом, и не просит, а поддразнивает его, продолжая какой-то, известный лишь им двоим, разговор.

– Сейчас, сейчас! А на башке зарубочку не хочешь? – с шутливой кровожадностью ответил Турхан-ага. – Смотри, поп, как бы тебя не услышали люди паши, тогда пиши пропало. Ты знаешь, что здесь делается?

– Не знаю, Турхан-ага, может, ты скажешь? Репу, что ли, вы решили посадить на холме, коль скоро вам столько земли понадобилось?

– Помалкивай там! – крикнул надсмотрщик и занялся следующим, тем, что уже отработал половину своей повинности. Он взглянул на его бирку и тут же съездил

коротышке по зубам. – Обмануть меня хотел, свинья! Сам поставил черту, гнилое семе! Сам! – заорал он, колотя несчастного увесистым кулаком, сжимавшим рукоятку кинжала, прямо по голове, которую тот пытался закрыть руками. Подскочившие к ним с палками надсмотрщики, встав в круг, принялись дубасить селянина, а ждущие в очереди загалдели:

– Так ему и надо! Хитрая сорока попадется до срока... Вол упирается – бич свистит! Мы, что ли, глупее?

Турхан-ага сунул старую бирку в мешок, бросил новую к ногам селянина:

– Начинай сызнова, будешь знать, как меня обманывать!

Стонущий человек повалился в ноги надсмотрщику, замычал что-то невнятное, из разбитой губы сочилась кровь. Рядом остановился крупноголовый, но смотрел не на него, а на других селян.

– Добейте же его! Чего ждете? Пользуйтесь случаем! – гневно выкрикнул он и погнал запряженного в тележку осла к развалинам.

Турхан-ага не ошибся, человек этот действительно был священником, пригнанным вместе с односельчанами, хотя носил те же домотканые одежды, что и остальные. От других он отличался нестриженой бородой, да тремя нужными каждому попу предметами, хранившимися в его доме: старым серебряным крестом, евангелием и камилявкой, оставшейся с незапамятных времен и вылинявшей от старости. Он надевал ее только на крещения и похороны, да еще в те два дня, когда был рожден и воскрес сын божий, но и этой камилявки ему было достаточно, чтобы отправлять христианские обряды. На краю амфитеатра поп разгрузил тележку, добавив еще одну горсть к священной земле Юсефа-паши.

Однако подвозом земли дело не ограничилось. Слишком большой была разница между верхним и нижним уровнем амфитеатра, землю нужно было перебрасывать вниз, к сцене и первым рядам, поэтому вскоре тех, у кого не было рабочей скотины, отделили от остальных и загнали в развалины. Из досок сбили длинные ульи, люди налегли на лопаты, земля и галька потоком полились на дно воронки. Юсефу-паше нужна была твердая, надежная земля, способная выдержать постройки и улицы, поэтому приходилось как следует забивать каждую щель, заполнять тоннели и боковые своды, через которые некогда народ проходил в амфитеатр. Огромные их пасти ненасытно поглощали землю, телегу за телегой проглатывало пространство между рядами, и когда земляная насыпь выросла довольно зримо, оказалось, что земля оползет, если с внешней стороны холма не сделать опорной стены. Абди-эфенди дал команду, подчиненные засуетились, разыскали мастеров-плотников, нашли селян, имевших представление о кладке, и около сотни душ принялось возводить стену, которая должна была подняться до верхнего края амфитеатра. Другая сотня душ, разбившись попарно, огромными дубовыми трамбовками уминала землю, кое-где пришлось поднять древние колонны и каменные глыбы, чтобы изнутри укрепить землю, потом из сёл приволокли тяжелые катки, которыми мяли снопы при обмолоте, привязали их к лошадям и прошлись ими по новым пластам; людской муравейник что-то тащил, копал и топтал, яростно хороня в этой земле и свои му́ки, и застилавший глаза гнев. Возчиков земли становилось все меньше, их грузы как будто проваливались в разинутую пасть развалин, а солнце все выше взбиралось на небо, жгло затылки, рисовое зерно быстро наливалось спелостью.

На закате Юсеф-паша ежедневно являлся посмотреть, насколько выросла новая земля и как идут дела с восстановлением мечети. Фасад ее уже был обновлен, каменщики-гяуры потрудились на славу. Пришедшее в негодность было заменено, подновлены подгнившие балки, остались каменные стены, над которыми возвышался подпертый бревнами минарет. Большая плата была обещана строителям, если работа будет закончена в срок, и лютая расправа грозила за опоздание, они выбивались из сил, подстегиваемые надеждой и страхом, а мусульманин-десятник, молчаливый, сморщенный старик, давал им в полдень ровно столько времени, сколько нужно на то, чтобы проглотить кусок, захваченный из дому, и снова принимался подгонять их, пока на небе не гас последний луч света. В первый же свой приход Юсеф-паша наказал кади не замазывать раствором оскверняющий мечеть христианский знак, как делали раньше, а убрать его с каменной арки совсем и на его месте выбить слова священной молитвы. И ровно через неделю, когда леса поднялись вровень с темно-серым сводом, какой-то парень уже сбивал православный крест, причем ему часто приходилось спускаться вниз, потому что камень был очень крепок. Усердие нравилось Юсефу-паше, нравился ему людской муравейник, пытавшийся залечить рану в теле холма. Дно амфитеатра было засыпано, опорная стена росла вместе с насыпью, все новые и новые кучи земли ссыпались вниз, под ними исчезали мраморные лестницы и скамьи, и паша мысленно представлял себе, как вскоре земля заполнит воронку, докуда она будет расстилаться и в какое благословенное место превратится подножие мечети Шарахдар.

Хорошо, что он не отказался от своего замысла, сумел побороть слабость. Слушая рассказ о жизни и

смерти Кючука Мустафы, о его тяжком, непростительном грехе, он заколебался, и на мгновение ему захотелось уехать на следующий же день. В столице ему был обеспечен триумф, который в течение стольких лет ускользал от него. Но пришло и его время, чтобы шагнуть туда, куда был обращен его взор с юных лет. Юсеф-паша сражался не только знанием и мужеством – мудрецов и смельчаков было достаточно и без него. Он обладал особым даром, который не зависел от одного только ума или опыта долгой службы. Трудно было назвать его одним словом, можно было сказать, что это безграничное самоотверженное служение вере, но это значило бы ничего не сказать о том огне, который, пылая в его душе, выжег в ней все ненужное, позволив ему заново отлить свою душу, как отливают звонкое лезвие клинка. Какими бы словами ни называл Юсеф-паша этот огонь: „вера“, „любовь“, „власть“ или „предначертание всевышнего“, он совершенно правильно не отделял их друг от друга, ибо для него слова эти звучали на языке самого огня. Так иногда паша думал о своей душе, и действительно не намного ошибался – в его душе пылал костер, но это был костер фанатизма, переплавивший понятия, как добро и зло, любовь и ненависть, истина и ложь, настолько что они перестали отличаться, а случайность сделала из них отливку в соответствии со временем, в котором родился этот человек и с местом, где он жил.

Юсеф-паша готовился стать кади-аскером, вторым судьей империи после шейха-уль-ислама, и тогда тайная власть его стала бы явной, огонь его веры и любви действительно согрел бы всех, над кем он стоял. Решение об этом было подготовлено, но падишах медлил. Нельзя было рассчитывать на его соглашение в жаркое летнее время, когда правитель скрывался в прох-

ладных покоях дворца. А осенью Юсеф-паша положит к его ногам на благо всей империи и вере плод, взращенный на холме, и плод этот будет достоен той борьбы, которой он посвятил всю свою жизнь.

Рассказ о самоубийстве смутил, но не расколебал Юсефа-пашу. „Кажется, я последний, кто знает истину“, – сказал отец Кючука Мустафы. Какое дерзкое высокомерие позволил себе этот оборванец! Истина, размышлял в ту ночь Юсеф-паша, стоя у неосвещенного окна, не зависит от жизни того или иного человека. Мир насквозь лжив, а путь живущих в нем людей еще лживее, но смерть их должна служить истинам вероучения. Все, что не служит этому, не есть истина. И только тот живет в истине, кто без остатка посвятил себя великому делу, кто не зависел в своей судьбе от случайностей. Юсеф-паша был убежден, что коран признает самоубийство грехом толко потому, что самоубийца пытается случайный миг в своей жизни выдать за нечто предначертанное свыше, хотя всевышний еще не принял своего решения. И истина переступала через него, а аллах оставлял душу несчастного корчиться в муках до тех пор, пока не возвращал ей света. Все причины были подчинены воле вседержителя! Юсеф-паша с отвращением думал о мягкотелости Кючука Мустафы и о его никчемной дерзости. Паша был терпим к песням, но не к певцам. Все, кого он знал, казались ему алчными бездельниками, самовлюбленными эгоистами, а при случае – трусливыми деспотами. На что-либо стоящее они не годились, и потому он совсем не жалел о Кючуке Мустафе, не мог простить его и считал, что наивысшим благом было бы навсегда забыть его имя. Но когда на совете один из имамов напомнил о нем, грешника пришлось окунуть в купель лучезарной истины, дабы во имя святого дела создать образ

совершенно другого Мустафы. Только так можно было возродить мечеть Шарахдар. Иначе проклятие оставалось бы висеть над ней. Назвав его мучеником и объявив,, что ему воздвигнут гробницу, Юсеф-паша в тот же самый момент страстно поверил в свои слова и похоронил в глубинах своей души образ того Кючука Мустафы, которого он презирал и ненавидел. Сказанное было истиной, ибо служило во благо вере. Этой истиной он спасал имя Мустафы, но его имя должно было служить истине, и Юсеф-паша стал относиться к новорожденному Мустафе с ревнивой любовью отца и был готов защищать его от любой хулы и сомнений.

Только один человек беспокоил его – отец некогда жившего Кючука Мустафы. Слабоумный, чувствительный старик мог навредить великой истине. Он мог пойти по базарам, похваляясь, что его сыну обещана гробница, а это не входило в планы Юсефа-паши. И когда в полдень Давуд-ага вернулся на совет и сообщил: „Мы его взяли!“ – паша больше не вспоминал о старике. Ему незачем было знать о том, как вдвоем с Фадилом-Беше они разыскали его в торговых рядах, как, кланяясь, почтительно объяснили ему, что его ждут в конаке, как повели в обход, глухими безлюдными улицами, к развалинам амфитеатра. Проходя мимо входа в тоннель, они внезапно втолкнули его туда, и старик, не сопротивляясь, с легким недоумением вглядывался в полумрак, обеими руками схватившись за пояс. И не успел Давуд-ага выхватить свой шнурок, как Фадил-Беше перерезал старику горло, и тот сполз ему под ноги, так и не поняв, для чего его заманили в ловушку. Спрятав золотые, перекочевавшие прошлой ночью из кошелька Юсефа-паши в пояс старика, Фадил-Беше поволок труп в темноту. Оказалось, в тоннеле были проделаны боковые ходы – прокопанные в ска-

лах узкие влажные галереи, в первую же из которых стражник и швырнул труп немощного старика.

С одним делом было покончено, но у Юсефа-паши была и другая забота, и помочь ему в ней не могли ни Давуд-ага, ни Абди-эфенди. Они не только не могли ему помочь, но как раз от преданного Абди-эфенди паша должен был скрывать ее, ибо дело было деликатным и приказом не решалось.

IX

Дня через два-три после того, как начали закапывать развалины, Абди-эфенди представился случай привести к Юсефу-паше своего сына. Давуд-ага проводил их не в кабинет, а в небольшую, чистую и богато убранную комнату с толстыми коврами на стенах и на полу. Звуки тонули здесь в бархатных занавесках, в пуховых подушках, горками стоявших на лавках, даже звучный голос паши звучал здесь приглушенно, ласково и таинственно, словно слова срывались не с губ, а шли прямо от сердца. В комнате стоял запах роз и чистой шерсти, и странная смесь эта приятно поражала новизной, в мягкой прохладе сумрачной комнаты человек невольно расслабляется.

Абди-эфенди был прекрасно обучен сдерживать свои чувства, но труднее всего ему было скрыть гордость за единственного сына Инана, после которого у него родилась куча дочерей. У юноши был живой и пытливый ум, и было что-то странное в том, что ум этот или спотыкался обо что-то обыкновенное и очевидное или вообще отказывался замечать его, но зато страстно пытался разгадывать все то, что было скрыто в делах людских и божьих, в мудрости написанных

слов, и в этом он заходил так далеко, как Абди-эфенди и не снилось, и открывал миры, о существовании которых отец и не подозревал. Инан был совсем еще ребенком, когда однажды, сидя рядом с отцом в саду за домом, вдруг разрыдался и бросился ему на грудь. Абди-эфенди вздрогнул, почувствовав на ладонях ручейки горячих слез. „Я боюсь, – рыдал ребенок, – боюсь упасть в этот колодец!“ И ручонкой показал на небо. Испуганный Абди-эфенди крепко обнял сынишку, до боли прижимаясь подбородком к его затылку, и, задрав голову в небо, впервые почувствовал страх перед черной бездной, из глубины которой холодно и спокойно смотрели на него звезды.

Тогда ему удалось объяснить себе страх ребенка, но позднее он часто не понимал причину его смутных и болезненных переживаний. Заметно было только, что Инан за месяц обучался тому, на что у его сверстников уходил год. Но то было лишь внешним проявлением его необычности. В душе мальчика как бы постоянно пролетала туго натянутая тетива, и неизвестно было, кто пускает стрелы, которые улетали далеко за горизонт обыденного. Неведомая мятущаяся и стенающая сила пыталась прорваться, и, мучая мальчишку, гребни ее всплесков обнаруживали себя то в буйстве, то в молчаливом созерцании, и отец чувствовал, что не в состоянии измерить эту силу и разгадать ее смысл, и, страшась ее таинственности, он все же верил, что она когда-нибудь выплеснется наружу и сделает его сына самым ученым и самым нужным вероучению человеком и через него возвысит их незаслуженно оставленный на прозябание род.

Не будучи в состоянии заглянуть в душу сына, Абди-эфенди всю свою страсть перенес на заботу о его физическом здоровье. Когда у ребенка случался жар,

а Абди-эфенди был далеко, в конаке или в селах, куда он часто выезжал по делам, он сразу же чувствовал, как начинает гореть его кожа, сердце неистово колотиться, как возникало чувство гнетущей тревоги, и всякий раз, вернувшись домой, ему сообщали, что сын заболел. Может, он и придумывал все, но ему казалось, что именно тогда ему и становилось плохо, он вздрагивал всем телом и, поглаживая рукой мокрые волосы сынишки, сам плавал в поту. Просыпаясь ночью от холода и видя, что лежит на подмятом под себя одеяле, он испуганно вскакивал, бежал в комнату Инана, где находил его свернувшимся калачиком, со сползшим на пол одеялом. Он осторожно накрывал его и, вглядываясь в дорогие черты, чувствовал, как по спине бегут мурашки. Иногда Абди-эфенди казалось, что он слышит, как потрескивают растущие кости сына, как, раздуваясь, молодые вены кормят голодную плоть, как раздвигают ткани растущие и крепнувшие суставы, как шуршит волос, вырастающий из корней. И со страхом ощущал, как в стареющем теле его тоже что-то потрескивает, надувается, наливается силой и шелестит, словно какая-то тайная, скрытая от глаз телесная жизнь снова повторялась в нем благодаря маленькому тельцу Инана. Абди-эфенди не знал, все ли отцы повторно переживают телесную жизнь вместе со своими сыновьями, некого было спросить ему, а если бы и было кого, то не спросил бы, даже брата родного, потому что стыдился своего вслушивания в эту жизнь, считая слабостью, недостойной мужчины. Отец старался не обнаруживать ее, но она была сильнее его боли и уколов стыда, и втайне от всех он наслаждался болезненной сладостью любви к Инану.

Теперь они сидели напротив Юсефа-паши, и, даже не глядя в сторону сына, Абди-эфенди знал, что грудь

сына вздымается ровно и спокойно, а глаза, не мигая, смотрят на ученого и властного служителя веры, о котором он рассказывал ему по дороге. Абди-эфенди согласился, чтобы Инан пожил у дервишей и познакомился с их учением. Пусть он познакомится с ними, может, его заметят в авторитетном ордене бекташей, хотя отец и не желал делать из сына дервиша. Молод Инан, всего-то двадцать лет от роду, и все дороги открыты перед ним. Только бы удача сопутствовала ему: дай бог, чтобы он попал в хорошие руки, которые помогли бы перешагнуть порог науки, а потом окунуться в реку подлинной власти. Руки паши казались Абди-эфенди подходящими, и он вручал ему плод свой с радостью, но и с болезненным чувством, ибо отрывал его от сердца. Ведь неизвестно еще, захочет ли посланец столицы пересадить его в свой сад, хотя Абди-эфенди и виделся далекий свет, который должен был озарить чело его сына, а потом отразиться и на его собственном челе.

Сказав несколько любезных слов, он оставил их вдвоем, и Юсеф-паша долго говорил с Инаном. Отпуская его, он поднялся на ноги, пригласил зайти снова, проводил до дверей, прощаясь, склонил голову в чуть заметном поклоне, ибо юноша заслуживал того, чтобы выказать ему уважение. Душа паши преисполнилась чувством радости и любви. Он вспомнил молодость и собственное рвение к знанию и истине. Инан сумел постичь даже больше, чем Юсеф-паша в его годы. Остр был ум его, и каждое слово сверкало жемчугом. Аллах да озарит путь его! „Всю жизнь искал я таких людей, о всемогущий, дабы предать их в руки твои, – думал паша. – И теперь не оставлю его, ибо вступил он на путь, ведущий в сады твои! Щедра твоя милость, всезнающий!“

Дорогой подарок преподнес ему Абди-эфенди, подарок, об истинной цене которого он даже не догадывался, ибо сын его стоил гораздо больше отцовских похвал и гордости. Вторая встреча тоже не разочаровала пашу. Испытывая юношу, он заставлял его ум взбираться на кручи и заглядывать в бездонные пропасти, показывал ему те вроде бы равные силы, что борются между собой, и заставлял выбирать истинную, ввергал в искушения и расставлял хитроумные ловушки, но Инан бесстрашно преодолевал пропасти и безошибочно выбирал правильный путь. Глаза его сверкали, радуясь счастью знания, волнуясь, он ломал пальцы и каждый раз прижимал ладони к груди, когда ему удавалось выиграть очередную партию в мудреной игре паши. Божественный свет был разлит в этом юноше, и лучи его озаряли все вокруг. Хафазом был он, хранителем слова истинного, на память знал он небесную книгу и мог не только начать ее с любого места и цитировать до конца, но и легко находил подходящий для разговора стих, истолковать отмененное и новое, вникая в смысл с огромной глубиной. Волей случая живому и любознательному уму юноши было доступно это и только это, но Юсефу-паше, который знал то же самое, ученость его казалась огромной, он поражался ее полноте и уже прикидывал, как половчее набросить на юношу ту невидимую сеть религиозных притязаний и земных амбиций, которые он называл словом „любовь“.

Но не только знание воспламенило его любовь. Душа Инана легко поддавалась священному экстазу, река религии щепкой несла ее в водовороты и глубины религиозного переживания, слово было способно возбудить его, и возбуждение это быстро переходило в экзальтацию, в порыв к единению с повелителем мира.

Нервный и чувствительный, юноша как бабочка порхал над костром жизни, а Юсеф-паша заманивал его все ближе и ближе и видел, что в порыве самоотвержения тот готов слиться со слепящим светом. Страсть эту зажгли дервиши, но паша не сомневался, что первопричиной ее являлся таинственный выбор небес. И Инан становился ему еще дороже, он пригласил его и в третий, и в четвертый раз, чувствуя, как страсть юноши разжигает его собственную страсть.

Наблюдая по вечерам за работами по засыпке развалин и восстановлению мечети, Юсеф-паша продолжал думать об Инане. Это была его третья радость на холме после мечты о новой земле и новом храме. Радость эта окончательно слилась с другими. Так же как растущие напластования земли были связаны с мечетью Шарахдар, так и вдохновенный и любимый образ юноши был связан с ними тройным узлом. Три журчащих ручья сливались в сердце паши, образуя мощную реку, и он купался в счастье. Воды этой реки омыли его внутренний взор и сами принесли решение, которое должно было соединить в жизни Инана с двумя другими делами так же, как соединялись они в мечтах Юсефа-паши.

И он понял, что отдаст Инана мечети Шарахдар. Властью своей он сразу же мог назначить его муэдзином, который извещает правоверных о часе молитвы и призывает их на нее. Таким рукам можно было доверить подачу сигнала к единению с аллахом и объединению верующих. Возвращение мечети в лоно истины венчалось бы тогда истинной страстью ее священнослужителя, как мир венчался справедливостью всевышнего. Инан был достоен этой милости и мог бы превратить эту милость в прославление бога.

И представляя себе нового муэдзина, Юсеф-паша

видел его таким, каким его рисовал один древний религиозный закон. А согласно ему, Инан должен был лишиться зрения.

Величественная картина вставала перед мысленным взором паши. На девственно-чистой земле, возникшей по его воле, стояла гробница мученика Мустафы, над нею возвышался храм, с белого тела которого было стерто старое проклятие, на верхушке которого стоял Инан, чистый духом и телом, как того требовала первородная чистота вероучения. Ничто здесь не должно было противоречить, уводить в сторону, все должно соответствовать и соединяться в благочестивой устремленности к небесам.

Закон гласил, что лучше муэдзину быть слепым, дабы с высоты минарета не заглядывал он в чужие дворы. Тем важнее было соблюсти это требование на холме, поскольку с минарета мечети можно было видеть дальше обычного, и множество тайн могло открыться взору. Но Юсеф-паша догадывался и о скрытом смысле закона. Теряя зрение, священнослужитель приобретал духовное видение, способность проникнуть в селения аллаха, подняться к невиданным высотам, откуда крик его не мог не тронуть сердец правоверных. Именно в таком муэдзине нуждалась мечеть Шарахдар. Тем более, что она отворачивалась от зла и поворачивалась к добру благодаря усилиям самого Юсефа-паши, а он не любил останавливаться в важных для него делах на полпути.

Приказать ослепить Инана было легко. Будущий муэдзин, однако, должен был обрести духовное видение по доброй воле, со смирением и благодарностью. И если он не сумеет сам оценить ниспосланную ему милость, то нужно подвести его к этому терпеливо, старательно и с искренней любовью. Но разве был на холме

поводырь, который любил бы искреннее, чем Юсеф-паша? А более ревностный, глубже понимающий смысл предначертанного? Значит, именно ему придется посвятить Инана в таинства, первым услышать радостное согласие, и в тот же вечер, приказав вызвать юношу, он начал приближать его к небесному свету.

Никто не должен был знать о содержании их ночных бесед. В предшествующие дни Юсеф-паша дважды похвалил Инана перед отцом, но сейчас он молчал и избегал встреч с писарем. А дерзкие мечты Абди-эфенди все больше воспламенялись и почти растопили льдинки в его глазах, он постоянно искал повода показаться на глаза хозяину, и демонстрируя свое рвение, выжимал из неверных последние соки. Невыспавшийся и мрачный, паша ненадолго появлялся возле мечети и снова возвращался в конак, где терпеливо ждал конца долгого дня. Тяжелым неподвижным взглядом он наблюдал за тем, как за окнами сгущаются сумерки, а вяз начинает походить на сгусток крови, который, увеличиваясь в размерах, постепенно поглощает вокруг себя все предметы – конюшни и стены, а потом вбирает в свою черноту весь мир. Хлопала дверь, слышались знакомые шаги Давуда-аги, сопровождавшего Инана. И тогда Юсеф-паша неслышно следовал за ними, входил, с порога протягивая руки, чтобы крепко обнять стоявшего в центре комнаты юношу и отвести его к лавке.

Семь ночей паша подбирался к Инану. Он наступал осторожно, ослабляя при необходимости натиск, он выжидал, прислушиваясь и прикидывая, заходил с другой стороны, в очередной раз сжимая кольцо, снова и снова проверял его прочность, а потом начинал стягивать очередное кольцо, все больше приближаясь к цели. Из притихшего конака и с холма не доносилось ни звука. Ласковый и приглушенный голос Юсефа-паши

иногда слегка дрожал от усталости или от страстного желания облечь в слова невыразимое; казалось, клубок слов разбухал, заполняя тесную комнатушку, слетавшие с губ Инана слова струились драгоценными нитями, переплетавшимися с нитями его наставника. В нем пробудилась и стояла настороже гордость нескольких поколений – не обманется ли он снова, самолюбие юноши заставляло его то устремляться к чему-то неясному и заманчивому, то испытывать тревогу и страх, и так – один невольно, а другой с полным сознанием дела, готовили пелену для нового рождения юноши, пока Юсеф-паша не решил, что она готова для того, чтобы завернуть в нее новорожденного. Заботливо, но твердо он объяснил ему о зрении плотском и духовном, а Инан, похоже, уже догадывался об уготованной ему судьбе, ибо лицо юноши на мгновение исказилось гримасой, сделавшей его морщинистым и постаревшим. За этой гримасой угадывалась борьба тьмы со светом, и Юсеф-паша молчаливо наблюдал за ней, собрав в кулак всю свою волю и глубочайшую любовь к Инану, дабы помочь победе света. Опыт былых сражений подсказывал ему, что ни жестом, ни словом нельзя нарушить сейчас равновесия сил, и, дождавшись, пока юноша успокоится, он дал ему на раздумье ночь, чтобы принять решение, наказав непрестанно молиться и испросить напутствие у всевышнего.

– Я тоже буду молиться, дабы получить такое же напутствие, – сказал ему паша, прощаясь.

X

Прошла ночь, прошел и еще один день. И вот Юсеф-паша сидел, поджав ноги, и, ни о чем не думая,

смотрел в открытые окна. Сгусток вокруг вяза сгущался, тяжело пролился в комнату и накрыл его неподвижную фигуру. Зрачки паши были широко раскрыты, он старался уловить тот момент, когда перестанет различать ствол и ветки дерева. Давно стихли во дворе звуки разговоров и шагов, но откуда-то издалека донесся крик, и Юсеф-паша на мгновение переместил взгляд. А когда снова взглянул на вяз, тот исчез во тьме. Зашуршали листья, потревоженные внезапно разбуженной и устраивавшейся поудобнее птицей, и снова все звуки утонули во мраке. А может, и не птица это была? Юсеф-паша мысленно представил себе серое оперение, по краям отливавшее ржавчиной, прижатый к груди клюв, беловатую чешую ножек с вцепившимися в ветку коготочками и саму эту ветку – темно-зеленую, гибкую, резные листья на тонких стебельках, сеть паутины, сплетенной между ними, потом все так же мысленно повел по ветке взглядом: там, где она утолщалась, зеленый цвет постепенно становился все темнее и незаметно сливался с коричневым, ветка эта переплеталась с другой, как переплетаются руки, и врастала в ствол, под потрескавшейся корой которого прятались нежные жилки и соки. Юсеф-паша увидел и эти соки – как они образуются в корнях, а листки всасывают их, как они процеживаются через древесное волокно и, застывая, образуют кольца, по которым определяется возраст дерева. Перед мысленным взором Юсефа-паши возникла вся пышная крона вяза – мрак был побежден и отступил, но он безотчетно продолжал напрягать бесполезное сейчас зрение, пока из глаз на щеку не скатилась слезинка. Он не сомкнул век, не поднял руку, чтобы стряхнуть ее. Он был захвачен картиной, нарисованной в его воображении, и восхищен силой своего провидения, и хотя слышал, как хлопнула

дверь, еще долго сидел неподвижно, дожидаясь, когда вернувшийся мрак сольется с растущим под окном деревом. И только тогда он поднялся и отправился на свою последнюю встречу с Инаном.

Как всегда в углу комнаты горела одна-единственная свечка. Юноша, сидевший на краешке лавки, при виде паши вскочил, собираясь поклониться. Опережая его, Юсеф-паша наклонился и, прижав правую руку к сердцу, левой рукой удержал Инана, готового броситься ему в ноги. Он обнял его, затем оба молча заняли свои места.

– Учитель... – почти неслышно выдохнул гость и нерешительно замолчал, а Юсеф-паша сжал губы и застыл в ожидании.

Несколько раз Инан собирался с духом, чтобы продолжить, казалось, слова сорвутся с его языка, но порывистые вздохи не давали им прорваться наружу. Ровно мерцал огонек свечи, ронявшей редкие прозрачные слезы, показывавшие, что время течет.

– Учитель, – повторил Инан, шумно выдохнув воздух. На этот раз ему удалось справиться с волнением, и он спросил: – Кто я такой, чтобы ты кланялся мне, учитель?

Черная фигура на лавке шевельнулась, и Юсеф-паша медленно произнес:

– Ты избран сорвать покрывало.

– Это больше, чем паша? Как это понять? Скажи мне одно, учитель: поклоны меня ждут в будущем или осмеяние и забвение?

Честолюбие, скрываемое юношей, неудержимо рвалось наружу и требовало удовлетворения. Юсеф-паша знал, что в этом возрасте честолюбие сильнее осторожности, оно толкает человека на дерзкие поступки, поэтому все семь ночей он старательно распа-

лял гордость Инана, уверенный в том, что честолюбие по-настоящему заявит о себе только в конце, когда юноша согласится с тем, что ему предначертано. Теперь ему показалось, что они оба приблизили это решение, и он охотно ответил:

– Никто из здешних не ступал на твой путь. Твой выбор омоет руку в небесном источнике. Поклоны ждут тебя!

– Не мало ли мне лет? И не припишут ли это слабости моей?

– Что годы, – презрительно скривил губы поводырь. – Пред вечностью его существования вся наша жизнь – мгновение. Уж не думаешь ли ты, что всевышний станет делить эти мгновения, чтобы определить, чью голову убелили седины? Не по годам аллах делает свой выбор, не ради молодости дана тебе сила! – Юсеф-паша с трудом подавил недовольство, вызванное этим вопросом, и уже мягче продолжил: – Но скажи мне, дитя всевышнего, слышал ли ты напутственный голос?

– Я слышал много голосов, паша. Один спрашивал: „Зачем?“ Другой советовал: „Подожди!“ Третий плакал от страха, четвертый подсмеивался, говоря: „Придет конец свету и с ним конец знанию твоему!“ Был и голос, увещевавший пожертвовать телесным зрением.

„Зачем насилу? Насилу нельзя!“ – тревожно мелькнуло в голове Юсефа-паши. – Выжди! Бери его за руку и веди! Пусть он не готов, не отталкивай его! Скоро!“ Он мрачно смотрел прямо перед собой и молчал, решая, начать ли все сначала или передать Инана на попечение Давуду-аге. Судя по заметно укоротившейся свечке, близилась полночь, и паша чувствовал, что одна нога затекла, но сама мысль о движении казалась ему противной, словно он боялся растерять последние силы.

– Говори! Не бросай меня! – скулящим голосом попросил Инан. В полумраке голубиные глаза его казались еще темнее, на лице стали заметнее следы бессонной ночи, он то приближался, то в ужасе отшатывался от той черты, за которой не будет места мучительным колебаниям. Сопротивление молодости захлебывалось в страшном соблазне войти в круг посвященных, животный инстинкт время от времени всплывал из темной глубины, жадно глотал воздух, но живительные глотки помогали все меньше, и в эту ночь юноше действительно был нужен спаситель и поводырь.

А поводырь еще долго вслушивался в свои мысли, прежде чем заговорил глухо, но отчетливо чеканя слова:

– Инан! Я сказал тебе, какой муэдзин нужен мечети Шарахдар. Открыл тебе древний закон, и путь назад отрезан. Твой ум вместил в себя достаточно знания нашей веры. Сведущ, ты ведаешь. Когда я впервые встретил тебя, ты жаждал и другого – единения с всевышним. Ты на верном пути. Это путь счастливых, сумевших соединить свое знание с единением с богом. Прозрел ли ты это? Приподнял ли покрывало, скрывающее небеса?

– Нет, – прошептал юноша.

– И мне известна причина. Тебе она тоже известна. Лишь все преодолевающие усилия позволят посвященному проникнуть в божественные сферы, куда никогда не проникнуть зрячему. Туда может заглянуть только дух, который сам рожден в этих сферах. А причина, по которой покрывало приоткрывается, проста. Сумев преодолеть путы видимого, дух познает суть невидимого, наши органы для этого бесполезны, они только мешают, а дух наш, возносясь, крепнет и возвращается в лоно свое. Наши чувства мешают вере, мешают наше-

му духу! В этом суть суфийской науки, к которой ты тянешься.

– Только высокий и зрелый дух есть подлинное зрение, – внезапно воодушевившись, подхватил Инан. – Зрение, которому не нужны глаза, зрение необманчивое. Приподнимается покрывало, и душа впитывает то, что есть сущность и смысл мира. И открываются истины, недоступные зрячим! И виден свет в колодце... Зрение без глаз... – повторил юноша звенящим голосом. От расслабленной позы не осталось и следа, теперь он сидел, выпрямив спину. – Но, учитель, обманчивость мира не исчезнет. Живя среди химер, как я смогу отличать небо от земли, воду от огня, безобразное от прекрасного? Не впаду ли я в новые заблуждения?

– Заблуждение – это и есть попытка различать их! Все, что можно почувствовать, живет только в нашем восприятии. Видимое существует, потому что мы наблюдаем его. Истинное же бытие бога является нерасчлененным, простым и единым. Расчленяем его мы, но это удел людей ничтожных – расчленять. Избранным достаточно одного чувства, и чувство это – любовь к всевышнему. В нем слиты небо и земля, вода и огонь, добро и зло. У тебя оно есть, Инан, так не отказывайся от него, возвысь его и служи ему! Долг избранных – отказаться от расчленения сущего, впустить в свои души единую силу веры и любви!

Не переставая говорить, Юсеф-паша осторожно спустил ноги на пол, встал и воровато скользнул в угол комнаты. Движения его были мягкими и какими-то неуловимыми, он слегка повернул голову, чтобы не упускать из виду Инана, продолжавшего сидеть, тихонько раскачиваясь взад-вперед. Воздух, который глубоко вдохнул Юсеф-паша, показался ему сладким и дурманящим.

– Послушай, сынок! – сказал он и в следующий момент, не наклоняясь и не приближаясь к огню, бесшумно дунул на свечку. – Послушай и загляни в душу свою! Как только ты перестанешь расчленять, откажешься от ограниченности чувственного восприятия, единственным восприятием станешь ты сам. Ты видишь, как в душе твоей трепещет небесный свет?

– Виж-жу, – заикнувшись, ответил Инан, зачарованный лишающим его воли шепотом наставника. Юсеф-паша не видел его во мраке, но по ответу понял, что юноша раскачивается все быстрее и почти в гипнотическом трансе.

– Чувствуешь ли ты, как растешь, как упирается тело твое в эти стены, разрушая их? Чувствуешь ли ты, что свободно паришь над землею, возвысившись над всеми людьми и над всем видимым?

– Да! Да! Да! – сладостным стоном откликнулась темнота.

– И что ты сливаешься с истиной, отказываясь от всего мелкого? В твоей воле высветить каждую травинку, каждого человека, любой предмет! Ты видишь, видишь... – Юсеф-паша на секунду замолк, истощенный напряжением. – Ты видишь вяз за окном?..

– О аллах!

– Вот твое духовное зрение! Вот твое предназначение! – Учитель шептал, но в шепоте и словах чувствовались непреклонность и властность. – Хочешь ли ты обладать духовным зрением? Согласен ли ты во имя покорности и любви к всевышнему стать муэдзином – очистившимся от скверны по законам веры нашей?

Охваченный экстазом и ужасом, Инан не мог больше сдерживать рыданий, рвущихся из горла, и в хаосе всхлипываний и вздохов Юсеф-паша с трудом расслышал согласие.

– Можешь ли ты поклясться перед аллахом? Клянешься ли ты, что, если поддашься слабости… – И Юсеф-паша произнес жестокие слова, рожденные когда-то опустошающей ненавистью и очищенные яростью многих поколений.

Заплетающимся языком Инан повторял их, и когда оба закончили, Юсеф-паша шагнул в темноту. Как только он коснулся плеча избранника, тот вцепился в его руку и осыпал ее поцелуями, ладони юноши были мокрыми от пота и слез, и, борясь с усталостью и брезгливостью, паша взял его за локоть и повел во двор.

Не отпуская его руки, он отвел юношу в обитель дервишей. Ночь выдалась душная, облачная, бледные звезды терялись в глубине неба. Давуд-ага шагал в темноте перед ними, но хозяин позволил ему зажечь фонарь только на обратном пути. Втроем они с трудом отыскали тропинку, ведущую к обители, и там разбудили старого дервиша, учителя, с которым плясал Инан. Подождав, пока старик вернется из кельи, паша коротко приказал ему запереть юношу и никого к нему не пускать. Утром он отправит переодетых стражников охранять его в течение того времени, пока будет идти подготовка к церемонии ослепления.

Гроза настигла их на полпути к конаку. Прилетевший с гор ветер засвистел под крышами, над головами блеснула молния, озарившая жавшиеся к земле кусты и травы. Завывания ветра слились с раскатами грома и вместе покатились в сторону гор; хлынул ливень, однако паша и Давуд-ага успели к тому времени дойти до ворот конака. В конюшне мерцал свет, видимо, старый конюх успокаивал испуганных животных. Переступив через порог, Юсеф-паша бросил свою накидку сонному слуге и долго мыл лицо и руки. За окном шумел вяз, ветки стучали в стекла, словно дерево просило

приютить его в доме, дождь лил как из ведра, смывая с холма мусор, новая земля в амфитеатре оседала. Юсеф-паша любил летние грозы – он чувствовал их благодать и очищающую силу. Вымытое лицо обдавало приятным холодком, он почувствовал себя бодрее, чем час назад, однако быстро уснул и спал долго. Несколько раз его будил веселый, чистый звон затихающего дождя, но пробуждение было приятным и легким.

XI

Адби-эфенди в эту ночь не знал покоя. Сон слетел с глаз еще до начала грозы, голова была ясной, как будто бы он и вовсе не спал. Когда полил проклятый дождь, он понял причину своей смутной тревоги и вскочил с постели. Земля раскиснет, по меньшей мере один день будет потерян, а Нуман-бей и так пригрозил, что снимет своих людей с работ. Рис созревал. Амфитеатр был наполовину засыпан, но как продолжать работы без селян Нуман-бея? Абди-эфенди принялся размышлять о том, как приструнить бея и задержать хотя бы часть его людей, как помягче доложить об истинном положении дел паше и умилостивить его. С двух сторон на него были нацелены клинки, и он не знал, каким из них будет пронзен. Задыхаясь от влажного воздуха, он растирал волосатую грудь, вздыхал и так, не одеваясь, но и не сомкнув больше глаз, дождался утра. А на заре Абди-эфенди узнал от старика-дервиша о решении паши и о клятве Инана.

Два коротких мощных толчка сердца – и вся кровь прилила к голове. Глаза его вылезли из орбит, словно кто-то нажал на них пальцем изнутри, да так, что они

вот-вот лопнут. „Глаза! Свершилось!" – слова эти болью отозвались во всем теле отца, и ставшим вдруг непослушным языком он пробормотал:

– Спрячь его! Верни мне его!

Дервиш, перепугавшийся, как бы Абди-эфенди не хватил удар, а еще больше, что проговорился о том, что ему удалось выудить у юноши, принялся выталкивать разом лишившегося воли отца.

– Он под надзором стражи! Смотри же, не выдай меня! – прошипел он и запер за ним дверь.

Абди-эфенди прислонился к стене – одинокий, притихший, он пытался вбирать в грудь побольше воздуха, надеясь остановить бешенное вращение земли. После грозы день блестел, как янтарь в четках, в швах между булыжниками мостовой остался лежать промытый песок, под куполом неба все вокруг блестело, мир был полон красок, гомона птиц и благоухал, как дыхание девушки.

„Вот оно... Мечеть..." – вновь пронзила боль все его тело, и он, сгорбившись, с низко опущенной головой, заторопился в конак. „Чем провинился Инан? Чем провинился я? Разве моего согласия спрашивали? Что я мог сделать? Этого требовал закон!" – вопросы и оправдания роились в его голове, к ужасу перед тем, что грозило сыну, примешивалось сознание своей вины и суеверный страх.

Не случайно все двадцать лет Абди-эфенди избегал даже приближаться к заброшенной мечети. Не случайно и теперь он переложил заботы по ее восстановлению на кади. Одного зла он мог ждать от нее, зла и мести, и ох как нелегко было ему войти тогда вместе с Юсефом-пашой в ее двор. Но что поделаешь, если от судьбы не уйти. Что мог он сделать тогда, когда его вызвал старый кади? Ведь не объяснил же он ему сра-

зу, в чем дело, а сказал, что молодой писарь нужен ему как исполнитель закона. Он так и сказал, „исполнитель“, и Абди-эфенди даже обрадовался и возгордился от того, что придирчивый старик из всех служителей конака выбрал именно его. По этому случаю он надел новую белоснежную чалму, обмотал златотканым поясом свой тогда еще тонкий стан и в таком виде явился на шариатский суд. На праздник он шел туда, за первым признанием того, что он нужен и недаром занимает свое место. Но кади лишь хмуро взглянул на него, жуя свои губы, – нрава он был вспыльчивого. Абди-эфенди стало не по себе, когда он услышал, что замышлялось против Кючука Мустафы и Дилбесте, обиделся он, что его включили в компанию негодяев. Раздраженный, он держался особняком, недоступный и строгий. Уйти он не посмел – старик мог донести на него в конак, но решил рук не марать, а только смотреть и слушать, раз уж так требовал закон. Он смотрел под ноги Мустафе, и, хотя ему было жалко его, вслушиваясь в слова кади, он не находил в них ошибки. Речь шла о законе, а с законом не шутят! Любовь? Так докажи ее! Абди-эфенди сам недавно привел в дом жену, но за такую вещь убил бы ее, не раздумывая. Справедливость не отменяет строгости, а этот Мустафа – просто дурак. И когда двое набросились на Мустафу, Абди-эфенди так и не понял, кто подтолкнул его к Дилбесте. Ведь дал же он себе слово не делать этого! Что же все-таки заставило его? Женщина завизжала, но он зажал ей рот, второй исполнитель закона никак не мог поймать ее ноги, над ними Хасан никак не мог развязать свой длинный пояс. Его прыщавая морда оказалась рядом с лицом писаря, три головы – Дилбесте, Хасана и его собственная – почти прижимались друг к другу, в возне Абди-эфенди не чувствовал того отвращения и

унижения, которое испытал позднее. Минуту ли длилось это, больше ли – он не знал, но только вдруг связка голов разорвалась, он почувствовал удар в затылок, дернулся в изумлении, и кади повторно огрел его аршином. Вот тебе и признательность! Вот тебе и благодарность!

От неожиданности и страха потерявший способность соображать Абди-эфенди подхватил свалившуюся чалму и стремглав выскочил на улицу. У первой же ограды его вырвало, жалко стеная, он обтер бороду белым шелком и выкинул чалму, ногой набросав на нее мусора. Дрожа от слабости и держась за заборы, он кое-как доплелся до дому и спрятался в нем. Ему казалось, что старик нарочно унизил его, что все присутствовавшие в суде издевались над ним, не считаясь ни с его должностью, ни с его происхождением. Уже вечером он узнал, что Мустафа бросился с минарета. К тому времени он успел успокоиться, а потом, в сотый раз размышляя о случившемся, он полагался на доводы ума, что в смерти певца он не виноват. Закон защищавшего его, справедливость была на его стороне, и если что и было не так, так только то, что вся эта суматоха в суде была не для таких людей, как Абди-эфенди. Другим полагалось расчищать человеческий мусор. Хасану – да! Остальным мерзавцам – да! Почему кади не бросился держать Дилбесте? Вот что говорил ему разум, ибо Абди-эфенди виделось случившееся, но, несмотря на оправдания, в душе его осталась тонкая трещина, из которой иногда выползали тревога и беспокойство. Наверное, со временем она бы заросла, если бы не пострадала мечеть Шарахдар.

Абди-эфенди сумел убедить себя в том, что несет вину не один. И не так пугали его судьбы Кючука Мустафы и Дилбесте, как поругание храма: наверное, по-

тому, что ни законом не было предусмотрено, ни кади с Абди-эфенди могли предвидеть, что глупец побежит и выбросится с минарета. Священным долгом каждого было хранить мечеть, и особенно тех, кто ближе всего стоял к опасности. Бессознательно, разделяя, смешивая и совершая подмену собственной вины, он пытался спасти себя от укоров совести, но вид зазубренных стен мечети Шарахдар продолжал тяготить его. И чем больше она разрушалась, тем дальше обходил ее стороной Абди-эфенди, молясь, чтобы свершилось чудо и имамы снова признали ее храмом всевышнего. Три раза колол он жертвенных баранов, вымаливая прощение за мечеть, но так и не узнал, услышана ли его молитва, ибо чуда не происходило. Может, причина проклятия была в другом – мечеть стояла на чужих останках, чужой пролитой кровью была пропитана земля, по которой они ходили, а чужая кровь опаляет землю и разъедает стены. Может ли человек знать промысел всевышнего? И как только узнал он о воле Юсефа-паши снять с нее проклятие, он всей душой защитил ее на совете, не побоявшись задеть гордость Нуман-бея. Но что из этого вышло и как это могло случиться? Неужели именно теперь, когда мечеть немного приведена в порядок, она обрушит на него свое проклятие? Неужели ей снова нужна жертва? Его сын... Будь прокляты могилы и Мустафы, и кади! Нет! Нет! Хватит! Он не виноват!

Абди-эфенди толкнул ворота конака, и из сторожевой будки выскочил Фадил-Беше.

– Стой, эфенди! Паша спит, – сказал стражник, преграждая ему дорогу.

– Срочное дело, – натыкаясь на него, пробормотал писарь. – Разбуди его!

– Ба! Постой-ка пока здесь, – ухмыляясь в ответ на

дерзкое требование, приказал Фадил-Беше, но, всмотревшись в искаженное лицо писаря, уже серьезно спросил: – Что, неприятности какие, а?

– Это я ему скажу! Шевелись! Неприятности…

Фадил-Беше лениво поплелся разыскивать Давуда-агу, наконец с галереи писарю крикнули подняться.

Паша уже проснулся и несколько позже обычного готовился к утренней молитве. Услышав, что пришел Абди-эфенди, который, похоже, проделал дорогу к конаку бегом, он сразу же понял, в чем дело, и решил: если старик-дервиш шепнул ему что-то, он повесит бездельника после церемонии посвящения Инана. До церемонии приходилось терпеть, и терпение требовало выслушать и отца.

Еще с порога Абди-эфенди распластал свое тучное тело на коврике.

– Милость! – прохрипел он. – Пощади его!

– О ком ты просишь, эфенди? И кто ты такой, чтоб просить? – невозмутимо спросил паша.

– Это мой, мой ребенок… Я отец ему…

Вес грузного тела давил на Абди-эфенди, мешая говорить. Он пытался держать голову на весу, чтобы смотреть Юсефу-паше в глаза, но, не выдерживая долго, снова тыкался щекою в ковер.

– Все мы – дети аллаха, и все мы прежде всего принадлежим ему. Он – светочь, озаряющий землю и небо!

– Я отдал его в твои руки… Думал, так будет лучше для него… Пощади его!

Абди-эфенди резким движением оторвался от коврика и встал на колени.

– Разве я сделал ему зло, несчастный? Он будет муэдзином самой лучшей мечети! Ты мог предполагать такое? После отъезда я пришлю ему фирман – он станет имамом! Будь мужчиной, Абди-эфенди! Ты слу-

жишь закону, так радуйся же за сына! И благодари меня за милость!

Благодарность отца бальзамом бы пролилась на душу Юсефа-паши, расхаживая по приемной, он остановился, чтобы как можно лучше расслышать, достаточно ли почтительно и искренне прозвучат благодарные слова.

– Я благодарен тебе! Бесконечно благодарен! Чтоб ты здравствовал сто лет! Пусть даст тебе силы всевышний! Только не ослепляй его, паша-эфенди!

Отец заплакал.

– Это ты слепец, коль не способен разглядеть большую любовь! И ты не знаешь Инана! Он добровольно выбрал небесный свет. Так ему было на роду написано! Не ведаешь ты, что духовное зрение его…

– Брось громкие слова, мудрейший! – ужаснувшись, прервал его Абди-эфенди. – Он молод! Ошибся! Жизни не знает!

Двойной подбородок писаря задрожал, он попытался взять себя в руки, но не смог, и по бороде его потекли горячие ручейки.

– С простым человеком – простой разговор, – холодно отчеканил паша. – Я даю ему хлеб на всю жизнь – вместе с почетом! И тебе – почет даю! На кол тебя следовало посадить рядом с визирем! Убирайся вон!

– Нет! Смилуйся! Подожди… –подполз к нему на коленях Абди-эфенди. – Верни мне его! Возьми меня! Меня!

Последняя отчаянная надежда вдруг осушила его слезы, он прижал руки к груди, лицо исказилось в смешной и неприятной гримасе.

– Я старше… Я заслужил… Моя очередь! Вырви мои глаза! Прямо здесь! Муэдзин… Вот он я! Благослови тебя всевышний!

– Ты лучше посмотри на себя! – бросил Юсеф-паша с леденящей улыбкой. – Тряпка! С таким пузом тебе только на минарет. Нет, недостоен ты этого!

Абди-эфенди на мгновение застыл в поисках спасительных слов, потом снова пополз к его ногам.

– Я смогу! Не гляди, что я такой... Я жилистый! Ловкий... С воздержанием... Меня возьми!

Однако терпению паши пришел конец, он повернулся к двери, чтобы позвать стражу.

„В усилиях и муках рождается добро, – скорбно подумал хозяин. – Сколько жертв, сколько жертв принесла моя душа..."

А душа писаря сорвалась в какую-то бездну: он чувствовал себя опустошенным, разбитым вдребезги, и хриплым, до неузнаваемости голосом он угрожающе прошептал:

– Слушай меня, паша! Не торопись! Мне все известно про Кючука Мустафу и мечеть. Все это делалось вот этими руками. Я во всем виноват! Не бери грех на душу! Брось это грязное дело! Уезжай! И оставь в покое моего сына! Мы из старинного рода... Не оскорбляй нас! Уезжай! – повторил Абди-эфенди, и в глазах его внезапно вспыхнула колючая ненависть, смешанная с гордостью, хотя он все еще не встал с колен.

– Молчи! – со свирепым выражением повернулся к нему паша. – Скажи спасибо, что заявился ты перед молитвой, иначе я здесь же приказал бы отрубить тебе голову! Больше твоего знания мне отпущено и больше твоего даю я!

– Руби! Руби голову, но знай – ты мой должник с той самой первой ночи! Если б не я, твоя кровь пролилась бы здесь... Верни мне долг, паша! Верни мне Инана!

Этот человек решил умереть, а подобную обиду Юсеф-паша не прощал, поэтому он оглянулся, ища,

что бы такое схватить, чтобы размозжить голову упрямца. И, наверное, нашел бы, если б со стороны галереи не донесся топот ног, сердитый голос Давуда-аги и чей-то незнакомый голос, раздраженно отвечавший ему. Дверь со стуком распахнулась, на пороге показался безоружный ага, подталкиваемый охранником Нуман-бея.

– Молись...

– Ты сперва, скажи, о ком доложить, а там видно будет...

Продолжая препираться, они вдруг увидели пашу. Давуд-ага, не ожидавший увидеть хозяина в приемной, растерялся. Но прежде чем паша успел прикрикнуть на него и прогнать охранника, в комнату, расталкивая стоявших у порога, шагнул сам Нуман-бей.

Юсеф-паша сразу же решил проглотить и эту обиду.

– Какая радость для глаз моих! Нуман-бей! – весело воскликнул он. – Да не оставит тебя аллах своей милостью! Какой счастливый случай привел тебя сюда в столь ранний час? Мне как раз нужен мудрый совет и глубокий ум, так что ты кстати... Проходи! Давай присядем!

Бей приветственно приложил руку к сердцу, потом коснулся лба, но остался на месте.

– Хвала всевышнему! Да ниспошлет он тебе долгих лет жизни! Прости, Юсеф-паша, что пришел незваным! – мрачно заговорил он. – Знаю, обычай требует присесть, сказать, что всевышний послал нам прекрасный день, а ты спросишь меня, как идут мои дела. Знаю, не по обычаю сразу заводить разговор о делах, сперва нужно произнести традиционные слова. Придется тебе простить меня, но я обойдусь без них. Прими уверения в моем почтении!

Нуман-бей снова коснулся рукой груди и лба, но нахмуренные брови его не расправились.

– Тебе, конечно, известно, паша, что случилось ночью? Да? Хорошенькое дело! Так не пойдет!

– Ночью? – вздрогнул паша, сразу же подумав об Инане. – О чем это ты, Нуман-бей?

– Вот эта собака, – бей указал на стоявшего на коленях Абди-эфенди, – которая сейчас лижет тебе руку, хлеб будет есть из моих рук. Ведь она везде крутится, все знает. О твоих делах печется, а моим мешает. Разве он тебе ничего не говорил? Или докладывает о более важных вещах?

– Эта собака не моя. Она из ваших. Если что не так, – задайте ей трепку. А среди моих людей собак нет, Нуман-бей. Ты многое знаешь, наверное, знаешь и об этом. Жалко, что ты не желаешь этого, – с печалью произнес последние слова Юсеф-паша.

Давуду-аге была хорошо известна эта печаль, и он насторожился.

– А этот, – помолчав, продолжил паша, – печалится он из-за пустяков, только время у меня отнимает. О тебе он ничего не докладывал. Я его накажу! А теперь говори, чем тебе помочь. Справедливость аллаха безгранична!

– Поздно помогать, паша! Лучшее мое поле загубили! – выкрикнул бей и, горячась и захлебываясь от ярости, принялся рассказывать о своей беде.

Котлованы на пустыре, из которых возили землю, становились все шире и все глубже. Наконец они соединились, и среди поля разверз свою пасть огромный земляной карьер. Телеги без труда спускались в него, грузить их стало намного легче, да и работники наткнулись на глиняную жилу, резали ее заступами, как масло. Абди-эфенди как-то послал надсмотрщика проверить, докуда дошел карьер, и тот доложил, что до межи Нуман-бея еще далеко. Однако работы шли быстро,

селяне вгрызались в жилу, подкапывали потрескавшуюся стену карьера, и вскоре межа оказалась у них над головами. И то, что было подготовлено ими, закончил проливной дождь. Земля раскисла, ночью случился оползень: огромный кусок земли с поля Нуман-бея, скользнув по глиняному пласту, съехал на дно карьера. Часть межи вместе с высоким бурьяном и кустарниками забросило аж к въезду в карьер, наполнившийся рыхлым, блестящим черноземом. Почти до середины поле покрылось глубокими трещинами. А Нуман-бей дрожал над этой землей. Он оставил ее под парами, давая отдохнуть, так как выращивал на ней культуры нежные и дорогие – арахис и кумжут, тмин или анис, которые не растут, где придется. И как только на заре он узнал об этой потере, вместе с начальником своей стражи немедленно поскакал туда, а когда увидел, как его собственные селяне копают его собственную землю, чтобы куда-то там везти ее, взбесился окончательно, схватился за плетку и разогнал их по домам. Из карьера он помчался прямо в конак, и теперь раздражение не оставляло его, ибо он предчувствовал, что этот оборотистый паша не сможет и не захочет понять его.

И как бы подтверждая это, Юсеф-паша прервал его:

– Что за печаль, бей! Не волнуйся! Лучшая земля в округе – твоя! Только покажи – я не откажу!

– Дело не в земле – мне честь дорога! – взъярился бей. От бешенства и многословия на губах у него выступила пена, которую он бесцеремонно смахнул тыльной стороной ладони. – Поля у меня есть, милостыни мне не надо, но не надо и копать землю у меня под ногами! Под ногами копают, а меня не спрашивают! Так не пойдет! В конце концов я бей или не бей?

Его голос гремел грубо и непочтительно, наверно,

через приотворенную дверь он был слышен слугам и охранникам, и Юсеф-паша с трудом скрыл свое раздражение.

– Каждый вносит свою лепту, каждый жертвует на богоугодное дело, – смиренно ответил он, потупившись.

– Я свою внес… Хватит! И раз уж я здесь, позволь, паша, сказать еще одну вещь. Рис созрел. Дня через три начну убирать. Знай – с сегодняшнего дня я увожу своих людей. Кровь пущу, если они здесь разленились! Хзатит, отработались!

– Нет! – чуть слышно ответил Юсеф-паша, чувствуя, как на шее вздуваются жилы.

– Что-о-о? – Нуман-бей, привыкший командовать у себя в селах, был введен в заблуждение миролюбивым тоном хозяина. – Я предупреждаю тебя в этой самой комнате. Забираю всех и ни у кого не намерен спрашивать!

– Здесь распоряжаюсь только я! – чеканя слова, ответил паша. – Когда прикажу и сколько прикажу – столько людей и дашь! Не смей тронуть ни одного человека! Раз ты приступаешь к уборке через три дня, через три дня и возьмешь половину своих людей и будешь держать их до полудня. Потом – опять на холм! Не заставляй меня продолжать этот разговор, постыдись начальника своей охраны! Всё!

– Но, паша, – бей задохнулся от возмущения, – на этот рис надеется столица. Баржи простаивают! За каждое зерно головы полетят! Вот хоть он тебе скажет…

Нуман-бей ткнул себе за спину, где должен был стоять на коленях Абди-эфенди, но когда все повернулись, там было пусто.

– Марш вон! – рявкнул Юсеф-паша. – Все вон! Беги, Давуд-ага, задержи его! Скорее! Связать его!

Давуд-ага лающим голосом отдал приказ толпившимся в коридоре стражникам, вернулся в приемную и одним движением вышвырнул из нее начальника охраны Нуман-бея. Вслед за ним из приемной пулей выскочил сам бей, от гнева потерявший дар речи. В жизни его никто не прогонял взашей. Уже во дворе, прыгнув в седло, он разразился цветистыми анатолийскими ругательствами.

Давуд-ага зря сломя голову бегал к воротам, зря сеймены перевернули все вверх дном в конюшне и в помещениях конака. Воспользовавшись ссорой, Абди-эфенди на коленях выполз из комнаты, кувырком скатился к караульной будке, где в стороне, на посыпанной песком площадке молились Фадил-Баше и два стражника. Прислушиваясь к гнусавым голосам, писарь заглянул в открытую дверь. Давуд-ага, который тоже готовился к молитве, оставил там свой пояс с оружием – он валялся на кровати. Не раздумывая, Абди-эфенди шмыгнул в караулку, схватил кинжал, спрятал его под мышку и бесследно растворился в переплетенье улиц.

Через несколько минут Давуд-ага ворвался к нему в дом. Через час Юсеф-паша отправил в город всех своих шпионов. Они осматривали лавки, обходили мечети и бани, заглядывали в кофейни и комнату за комнатой обыскали караван-сарай, но никаких следов писаря нигде не обнаружили. Паша ждал, был люто зол и грозился разодрать пополам дерзкого безумца. Как он посмел удариться в бега и где собирался скрываться, если все его имущество и вся его челядь были под пятой его власти? После полудня Давуд-ага уже не смел показаться хозяину на глаза, а Фадил-Беше держал в холодной воде распухшие от ударов ступни.

Недобро начался этот день и недобро продолжался:

явившийся в конак надсмотрщик сообщил, что половина работников не вышла исполнять повинность. И Абди-эфенди нет – некому дать совет, как собрать людей.

Юсеф-паша молча схватил бич и в сопровождении десятка охранников спустился к амфитеатру. Послеполуденное солнце обдавало жаром, на подъеме скрипели редкие телеги, небольшая группа селян толпилась у опорной стены, лениво ковырялась в земле. Со стороны мечети Шарахдар доносились удары плотницких молотков, ветхая обшивка минарета была снята, и он обрубком руки торчал на фоне неба. До завершения работ оставалось немного, но пока еще ничего не было доведено до конца. Юсеф-паша шагнул на новую землю и пошел вперед, пиная комки земли, а охранники виновато следовали за ним, надеясь на какой-то приказ. „От меня требуется последнее усилие... Вот она, моя награда“, – подумал паша и объявил, что с этого момента он лично будет руководить работами.

XII

Стражники коршунами налетели на села, сгоняя народ. Юсеф-паша приказал рубить головы за малейшее неповиновение, и всадники метались от лачуги к лачуге, выгоняя оттуда людей, псы давились лаем, зубы их сверкали в темноте, дворы наполнились мычанием скотины, руганью и свистом бичей, к городу потянулись вереницы несчастных, но из десяти человек девять исчезали в темноте и скрывались в зарослях растущей по берегу конопли, где отсиживались, чутко вслушиваясь, не смолкнет ли где рядом хор лягушек, не блеснет ли лезвие ятагана.

Ночью в котловане возле полей Нуман-бея и в на-

половину засыпанном амфитеатре вспыхнули факелы. Стражники держали их над головами, часто сменяя затекшие руки и покачиваясь от бессонницы, в мутном свете нельзя было разобрать, кто работает, а кто бездельничает, время от времени надсмотрщики врезались в толпу, отвешивая оплеухи направо и налево, слышались стоны, уставшие люди были раздражительными и злыми.

Юсеф-паша всю ночь тоже провел на ногах, и, наверное, ему это далось труднее, чем другим, поскольку он не спал и предыдущую ночь. Стоя на площадке пятиугольной башни, он поглядывал на сонный муравейник внизу и размышлял о делах, беспокоивших его на холме. Хотя восстановление мечети Шарахдар еще не завершилось, нужно было как можно скорее вводить Инана в таинство, дабы свыкся он с земным мраком и небесным озарением, набрался бодрости и твердости к тому времени, когда в одну из ближайших пятниц состоится церемония приобщения храма к религии и вере. Нужно было спешить и из-за Абди-эфенди. Он продолжал скрываться, а значит – бунтовать, надеясь заставить пашу изменить свою волю после того, как каким-то образом ему удастся вырвать у него сына. Без надежды его упорство потеряет смысл. На одной лишь ненависти ему долго не продержаться, в конце концов писарю придется сдаться. Юсеф-паша не сомневался в его поимке, не боялся его, но считал разумным очистить дорогу для дел своих даже от мелких камешков. „Правильно говорят: убей надежду, дабы ничто не мешало тебе!“ – повторил он про себя и, склонившись, негромко крикнул. Невидимый Давуд-ага откликнулся откуда-то из кустов, и паша успокоился. Его охрана была начеку, люди не расслаблялись, но им требовалось подкрепление. Народ тоже нужно было щадить,

ибо за одну ночь работу было не кончить. С высоты он видел тени шатавшихся от усталости, падающих и с трудом поднимающихся на ноги людей, побледневшие с приходом рассвета огни факелов, и как только стражники принялись дружно гасить их, Юсеф-паша отпустил людей отдыхать до обеда.

Сам он лег не сразу. Вызвал к себе Элхаджа Йомера и попросил у него помощи. Сердар долго раздумывал, пытался выкрутиться, но все-таки дал часть своих людей. Толстеющим от безделья янычарам сначала все казалось забавой, но за неделю они почернели от пыли, мечась между усадьбами беев и гяурскими селами. Трудно было отрывать народ от полей: те, кому настал черед исполнять повинность, скрывались, мелкие беи скандалили, поскольку сами нуждались в работниках. Давуд-ага, высохший как плеть, носился по округе, зверея от скрытого непокорства селян: однажды ему пришлось повесить отца и сына, которых он застал за ломкой колес у телеги. Введенные Абди-эфенди бирки отменили. Даже если кто-то поднимал на холм не сто, а тысячу грузов земли, никто его не освобождал. Кого бы ни схватили – мужчин ли, женщин ли, всех заставляли носить землю, перекидывать ее лопатами или трамбовать, и не одному человеку не удалось выскользнуть из цепких рук Юсефа-паши. Наибольшие притеснения выпали на долю городской бедноты, а сельским старостам было приказано, чтобы полдня население работало на холме, а полдня – на своих наделах, но при условии, что люди отработали положенное на бейских полях. Однако на деле получалось так, что вернувшиеся с повинности люди попадали в руки надсмотрщиков беев, и времени на жатву собственных полей не оставалось. И сил не оставалось. Люди сгибались под непосильным бременем, изворачивались и лгали, от уста-

лости валились с ног; на поля высыпали и стар и млад, но дети и старики не управлялись с работой, поэтому при малейшей возможности селяне разбегались, и тянувшийся к холму поток редел. И чтобы он не поредел окончательно, стражники и янычары не слезали с коней, гонялись за людьми по всей округе, подстегивали и вздымали очередную волну, которая подкатывала к стенам, оставляла в амфитеатре очередной пласт и снова откатывалась к желтеющим полям.

А поля начинали гореть. Колосья на потемневших рисовых стеблях ломались под тяжестью зерен, после малейшего порыва ветра было слышно, как падают они на пересохшую, окаменевшую землю. Суслики преспокойно расхаживали среди посевов, не чувствуя в воздухе запаха человека, стояла оглушительная тишина, в пепельном небе кружили ястребы, высматривая добычу в обезлюдевших дворах. Бывали дни, когда на поля Нуман-бея не выходил ни один человек. А если начальнику стражи и удавалось найти работников, трудиться они могли либо до полудня, либо до вечерней зари, а богатый урожай так не собирают. Бей засел в своем имении, в башне, там садился за трапезу и там ложился спать, у дверей неотлучно стояла охрана. Больше он не ездил к Юсефу-паше, вместо этого отправил старост в горы за новыми работниками, но время было потеряно, и даже если бы работники пришли, на хороший урожай нечего было и надеяться. Нуман-бей чего-то выжидал, он часто прикладывался к кувшину с водой, подставлял лоб под журчащую струю, видно было, что на душе у него неспокойно.

Неспокойно было и в городе, особенно в корчмах и кофейнях, разбросанных у реки. Пристани облепили гроздья лодок, баркасов, парусных судов, которые в это время года отправлялись отсюда с грузом риса и до-

ставляли его в первый султанский порт, откуда в столицу его везли караваны волов. Это обеспечивало неплохие заработки, постоянную работу, и вокруг лодочников и матросов кормилось немало грузчиков и весовщиков, канатчиков и плотников и еще куча народу, смолившего днища, убиравшего мусор и предлагавшего любые услуги. У людей водились деньги, в харчевнях только успевали поворачиваться, в лавках шла бойкая торговля, долги исправно выплачивались. Теперь же весь этот жадный до работы и заработков люд оказался не у дел. Кофейни были переполнены, зеваки толпились вокруг играющих в нарды, но угощенье выставлялось нечасто, грузчики бродили по берегу или, позевывая, лежали в тени складов, высматривая, не появится ли вблизи подмастерье, чтобы смеха ради столкнуть его в воду. Вокруг редких телег с зерном возникала толкучка, грузчики и матросы пускались в препирания, затевали драки и хриплыми голосами умоляли старшину торговцев не оставлять их без работы. Течение равнодушно и бесцельно несло вниз зеленоватую воду, на которой покачивались стоявшие без груза суда, берег полнился слухами, ропот недовольства перекидывался на город и достигал даже вершины холма.

Шпионы докладывали Юсефу-паше о волнениях в городе и окрестных селах. А паша чутко прислушивался, надеясь выделить в общем гуле самый громкий голос, чтобы в назидание всем покарать дерзнувшего возвысить его, однако незаметно для себя поддавался общему беспокойству. Оставалось совсем немного, чтобы сказать: „Хватит закапывать!“ Опорная стена была воздвигнута, осталось закончить засыпку верхнего тоннеля, подвезти и разровнять землю там, где должна была подняться гробница Мустафы. Немного дел осталось и на мечети Шарахдар. Плотники занима-

лись покраской и отделкой, один имам-каллиграф вывел на пергаменте священный знак, который камнерез должен был высечь на темно-серой входной арке. Но даже эти мелочи делались бестолково и суетливо. Помимо воли, мысли паши обращались и к Абди-эфенди, так и не попавшему в расставленные капканы, а также к подозрительно затихшему Нуман-бею и к недовольному гулу, доносившемуся с берегов реки. Все это отвлекало его от главного, к тому же из-за того, что народ выходил на работы нерегулярно, ему приходилось вступать в оскорбительные пререкания с Элхаджем Йомером, его раздражала задержка с прибытием нового правителя области. За день скалы на холме раскалялись как плита, по ночам Юсеф-паша обливался потом и, чувствуя, как теряет силы, метался на постели. Душу его переполнял гнев, смешанный с досадой, а общее чувство недовольства усиливалось из-за того, что церемония ослепления Инана прошла совсем не так, как он ее планировал.

Он приказал устроить ее поздней ночью. Во внутреннем дворе обители дервишей, открытом с одной стороны, разложили костер, вокруг него плотным кольцом столпились суфтии и проповедники. Позади них в темноте вторым кольцом залегли стражники. Юсеф-паша скрылся в здании, через узкое окошко он видел языки пламени, дервишей в бараньих шапках и место, приготовленное для избранника. Музыканты принялись дуть в зурны, старый дервиш завертелся с ловкостью, приобретаемой долгим опытом, стоявшие вкруг начали выкрикивать девяносто девять имен аллаха. Инструменты пищали и рокотали, сквозь крики с трудом пробивался какой-то плачущий голос, невнятной скороговоркой читающий слова из священной книги. И когда шум почти оглушил пашу, наконец пока-

зался сильно похудевший Инан, поддерживаемый четырьма крепкими дервишами. Лицо его было закрыто покрывалом, он шел, нащупывая ногами опору, поэтому казалось, что дервиши ведут слепца. В последние дни юноша много раз просил о встрече с Юсефом-пашой и отцом. Бессмысленной и тяжелой оказалась бы такая встреча для паши, и по его указанию учителю пришлось обманывать Инана, внушая ему, что перед таинством посвящения нельзя ни с кем встречаться, а нужно всецело отдаться строгому посту и молитвам. Было заметно и то, что юноша одурманен гашишем, ибо как только проводники отпустили его, он качнулся вперед, а когда они слегка нажали на его плечи, он мешковато и неуклюже сел на землю.

Костер разгорался, отчего темнота за спинами людей казалась еще гуще. Продолжая вертеться, старый дервиш начал приближаться к Инану, плачливо заскулив, тот тоже приблизился, остановившись в каком-нибудь шаге от него. Не перестававши вращаться учитель, оказываясь лицом к лицу с Инаном, нависал над ним, ветер, трепавший покрывало, мешал Юсефу-паше наблюдать за тем, что происходит, но вдруг Инан дико подскочил, повис на руках поводырей, и его хриплый нечеловеческий рев перекрыл все голоса и звуки.

В то же мгновение дервиши разбежались по сторонам и, схватив заранее расставленные на земле тазы и кувшины с водой, принялись гасить костер. Таким был приказ Юсефа-паши, таким должен был стать ясный знак, символизирующий конец тленного сияния и начало вечного, но не успели дервиши выплеснуть воду, как из темноты долетела ругань, начался переполох, несколько человек одновременно завопили: „Стой! Вот он! Держи его!“ В светлом пятне непогасшего костра вепрем промчался Абди-эфенди, за ним метнулся Да-

вуд-ага, звериным голосом прооравший: „Не гасите огонь!“ – и наугад пальнувший из пистолета. Из укрытий высыпали остальные стражники, перемешавшись с дервишами, одни из них проталкивались к пылающим углям, другие вырывали тазы из их рук и отталкивали в стороны, какой-то молодой проповедник, раненный в плечо выстрелом Давуда-аги, стонал и вскрикивал от боли. Над костром стелился прогорклый дым, разнося запах каленой тряпки; ветер подхватил ее и швырнул в окошко, прямо в лицо Юсефу-паше. Таинство было осквернено, церемония оплевана, и паша, вытирая слезящиеся глаза, пошел взглянуть на Инана, которого поводыри в беспамятстве отнесли в келью.

Возможно, на следующий день населявшие город и холм люди, узнав об ослеплении Инана, долго бы толковали о суровых канонах вероучения, если бы их не постигла общая беда. После обеда пятеро янычар первыми принесли весть о том, что сгорело дотла крупнейшее и самое лучшее поле Нуман-бея. Они рассказывали, что куропатки, стаями поднявшиеся в небо, не могли перелететь его без передышки и садились в посевы риса, но он полыхал как порох, огонь оказался быстрее куропаток, он настигал их и зажаривал живьем. Тысяча, нет, пять тысяч жареных куропаток лежит на поле Нуман-бея! Идите, правоверные, попотчуйтесь! Янычары смеялись, потому что для них главным казались жареные куропатки, но когда новость облетела пристани, скандальный, недовольный и обманутый в своих ожиданиях народ притих, и люди стали многозначительно переглядываться. Прибывший из чужих краев собственник парусника, носивший в ноздре небольшую серьгу, в сердцах разбил кофейную чашку, выскочил из кофейни и через полчаса отплыл из города. Вслед за ним потянулся целый караван порожних речных су-

деньшек, оставшийся на берегу люд разразился упреками и угрозами. Никто не знал, кто поджег поле Нуман-бея – селяне или стражники паши, но ни для кого это и не имело значения, да и никто не собирался выяснять это; значение имело лишь то, что у людей отняли кусок хлеба, и они не могли больше сдерживать свой гнев и обиду. Гяуры стали разбегаться, а толпа правоверных, собравшихся на берегу, к вечеру увеличилась. Люди опытные знали, что вспыхнувшее недовольство этой толпы кончалось либо резней, либо поджогами.

Огонь в поле не мог не перекинуться на город. Лавочники поумнее переносили товары во внутренние дворы, бывалые люди договаривались вместе сторожить по ночам свое имущество, но несмотря на это, пожар застал всех врасплох. В обители дервишей только-только улеглась суматоха, вызванная необычным происшествием, как полыхнули торговые ряды. И пока люди выскакивали на улицу и суетливо соображали, что делать, занялись дома по соседству с конаком. Сначала пламя бушевало в двух отдельных очагах, но порывистый ветер подхватил его, огненные руки пожара потянулись друг к другу, торопясь сомкнуться у подножия холма.

Здесь часто случались пожары, опустошавшие целые слободки. Как обычно, и на этот раз власти и народ оказались беспомощны перед лицом стихии. Длинные языки огня жадно лизали лачуги, с коротким звуком „паф“ вышибая из них воздух, в пасти пожара мгновенно исчезали дощатые стены, обмазанные глиной плетни и соломенные крыши. Но лачугами пожар насытиться не мог, и он подступался к каменным домам, вертелся вокруг них, пытался подобраться то справа, то слева, карабкался по окнам и заползал под стрехи, и стоило легковерному человеку решить, что

огонь пресытился добычей, как он внезапно взмывал над крышей, бушующий и голодный как прежде, и яростно перекидывался на соседнюю постройку. На улицы сыпались искры и горящие уголья, по-детски пищал охваченный пламенем тополек, с глухим бормотанием догорали стоявшие в ряд склады с зерном. Смельчаки топорами рубили стропила, пытаясь не позволить огню перекатываться с крыши на крышу, баграми опрокидывали стены внутрь горящих домов. „Берегись! Береги-и-сь!“ – ревели пожарники, подтаскивая мехи с водой, глотки которой, казалось, только раззадоривали пламя, заставляя искать все новые и новые жертвы.

Что было в силах людей – они сделали, что могло сгореть – сгорело. Сгорела и лавка, и дом Параско Томиди, хотя и он выходил сторожить добро. Его жена, за юбку которой цеплялись детишки, рыдала и била себя в грудь, не в силах понять, куда делся ее супруг и почему не спасает имущество. Только наутро она нашла его обгоревшее тело, но не заметила ножевой раны, поскольку в том месте спина его совершенно обуглилась. Не нашла она на пепелище и железной шкатулки, известной только ей одной, и так и не узнала, расплавилась ли она при пожаре или была украдена. А она была украдена. Лишь занялись огнем первые постройки, один из поджигателей, приземистый курчавый грузчик, притаился у лавки менялы и, выждав, когда Томиди снимет замок, чтобы войти, всадил ему свой кривой нож под лопатку. Потом он обыскал полки в задней комнатушке, но захватил с собой только шкатулку. Со временем золотые монеты из нее, в том числе и та, старинная, перекочевали в карманы других людей, на это золото они делали покупки или развлекались, платили им за то, чтобы спастись от тоски, страсти или дурной

болезни, часть драгоценного металла попала в далекие края, но выпуклая монета задержалась, ее неохотно выпускали из рук, так как цена ее была велика, никто не рискнул разменивать ее по мелочам, и может поэтому, а может и случайно, она еще долго оставалась на холме.

Много людей и зданий пострадали в ту ночь от пожара. Конак все же уцелел, хотя и попал в кольцо огня, чуть было не перекинувшегося через ограду. Стражники храбро сражались с ним на соседних улицах и дворах, впереди всех, выпятив грудь, как лев боролся с огнем Давуд-ага, пока сорвавшаяся откуда-то горящая балка не свалилась ему на голень. Скрипя зубами, он кое-как добрался до конака, но по-настоящему нога разболелась только на следующий день. Давуд-ага лежал в бывшем гареме визиря, на той самой широкой постели, где тот предавался любовным утехам со своими женами. „Вот где у нас слабое место… И у меня, и у Ракибе“, – мелькало у него в голове всякий раз, когда его взгляд падал на распухшую, намазанную снадобьями ногу. Перед заходом солнца его зашел проведать хозяин, и лицо Давуда-аги засияло от благодарности. После воспоминаний о кобыле его единственным сокровищем была верность Юсефу-паше. Человек ученый и могущественный, паша иногда вызывал его для беседы, посвящал с самого начал в свои замыслы, и в этот раз, осмотрев его рану и успокоив, тоже поделился тем, что им еще предстоит сделать, и упомянув о предстоящем отъезде, как бы между прочим заметил, что Абди-эфенди наверняка прячется у Нуман-бея, там-то и нужно устроить ему ловушку.

Беседуя, Юсеф-паша никак не мог отделаться от тоскливого чувства, преследовавшего его весь день. Возможно, причиной его было бездействие, или по-

жар, который несомненно оторвет людей от богоугодного дела, или неудавшаяся церемония посвящения Инана. Два часа сна в неурочное время не придали ему бодрости, просыпаясь, он вспомнил, что во сне ему привиделись какие-то каменистые холмы, таращившееся на них солнце и прорезавшая холмы дорога, галера на ней, а в галере он сам, в цепях и с веслом в руке, рядом – Инан, а впереди, прикованные к веслам, гребли визирь и карлик, Давуд-ага и Абди-эфенди, Кючук Мустафа и Хасан, сын Хюсри-бея, и еще какие-то люди, вереница которых была бесконечной, и сон был бесконечным, все в нем было смутным, размазанным, изменчивым, паша даже не мог с уверенностью сказать, приснилось ли это ему или он слышал о чем-то подобном и как вообще его настигла такая нелепица на разогретой телом постели. Он поспешил выбросить все это из головы, забыть и, окончательно проснувшись, действительно забыл, поскольку воспоминания о сновидениях приходили к нему в состоянии полусна- полубодрствования. „У души свои тайны, – думал Юсеф-паша, – и человек, приютивший ее в своей телесной оболочке, не в силах проникнуть в них“. В тот самый момент, когда он выходил из комнаты Давуда-аги, паша вдруг осознал, что ему приоткрылась одна из таких тайн – на самом деле ненужная, глупая и неприятная. О существовании ее он мог судить лишь по легкой тени, которую она бросила на его настроение, но в чем была суть этой тайны, понять ему было не дано, поскольку она скрылась в глубины, недоступные ни для телесного, ни для духовного зрения. „Быть может, там, – продолжил размышления паша, – перед троном всевышнего душа открывает все свои тайны, а мы с изумлением смотрим на нее, не узнавая в ней свою душу, ибо на этом свете она обманывала нас и позволяла обманывать всему

свету. О аллах, мы ли живем в этом мире или кто-то живет вместо нас?“

Неожиданный вопрос этот испугал пашу, усмотревшего в нем собственную слабость. И дабы не предаваться больше праздным размышлениям, он спустился с галереи, проверил, выскребли ли стражники своих коней, и наконец решил в одиночку осмотреть то, в чем не было обмана – землю, созданную по его воле.

Воздух над холмом еще попахивал гарью, на пепелищах возились в поисках уцелевшей утвари женщины с закрытыми чадрами лицами. Юсеф-паша обошел их стороной и, пройдя мимо мечети Шарахдар, спустился к уже засыпанному землей амфитеатру. Новорожденная земля, священный кусок которой выравнивал выщербленное очертание холма, лежала под его ногами. Над ней висела густая розовая пелена, в лучах заката контуры опорной стены казались нечеткими и расплывчатыми. То, что на совете было воспринято как невозможное, стало фактом. Из ничего возникла твердь, над которой были не властны ни пожар, ни разрушительное время. Паша стал спускаться по небольшому наклону, опираясь на ятаган и мысленно представляя, где точно будет проложена улица, ведущая к гробнице Мустафы. Здесь было достаточно места и для того, чтобы разбить сад с фонтаном, и построить здания, сюда, на неоскверненную землю, нужно будет, наверное, перенести обитель дервишей. Он огляделся, гордый и довольный, что в этот тихий час может порадоваться в одиночестве, потому что завтра на этом месте опять закипит работа. Недавняя тоска словно впиталась в землю, а оттуда в него вливалась сила и решимость. Земля словно держала своего создателя в теплой ладони, смененная обшивка минарета поблескивала в последних лучах заходящего солнца, вокруг не бы-

ло видно ни души. Даже если днем сюда и приходили селяне и надсмотрщики, они давно разошлись, хотя кое-какие мелочи остались недоделаны. Верхний тоннель был завален не до конца, там все еще зияла дыра, в которую мог втиснуться человек, и Юсеф-паша бесшумно приблизился, чтобы как следует рассмотреть ее...

XIII

Он ошибался, говоря Давуду-аге, что писарь скрывается у Нуман-бея. Правда, Абди-эфенди однажды побывал в его имении – бей сам позвал его. Начальник стражи бея знал, к кому постучаться, чтобы приглашение дошло до адресата. И хотя все те, к кому он обращался, только испуганно пожимали плечами, главный писарь не замедлил явиться и всю ночь провел в башне в компании Нуман-бея. На столе горели четыре свечи, хозяин, расхаживая от одной каменной стены к другой, диктовал ему что-то, а гость, отбрасывая ненужное, исписывал свиток красивыми знаками. Еще затемно преданный гонец поскакал на восток, а бей, предупредив Абди-эфенди больше не приходить в имение, отсчитал ему двадцать золотых, чтобы тот выкупил сына у дервишей. Но дервиши от золота отказались, во-первых, потому что боялись, а во-вторых, потому что не хотели обманывать его: перед кельей Инана круглосуточно дежурила стража, и они все равно не смогли бы вызволить его. И, в-третьих, что было важнее всего, сам Инан отказался от побега. Когда старый дервиш шепнул ему об этом, Инан сквозь зубы пробормотал, что таково предначертание всевышнего и что он поклялся следовать ему перед своим наставником. Вот

куда направила стрелу та натянутая тетива, которую отец чувствовал в душе своего сына! Но Абди-эфенди не сдался. Была еще одна возможность для спасения – найти пять-шесть вооруженных удальцов, напасть на обитель и силой увести Инана. Но те, кто годились на это и были его должниками, не смели поднять руку на служителей веры и побаивались стражников, и вместо того, чтобы послужить ему своими ножами, предлагали убежище для ночлега. Он не доверился им. Хорошо зная готовность людей переметнуться на сторону сильного и о том, что предательские слова могут в любой момент слететь с их языка, он еще в первый день побега позаботился об укрытии и о том, чтобы ни одна живая душа не узнала, где оно.

Абди-эфенди вырос на холме и знал каждую мелочь не только на нем, но и все тайное, что было под ним. А под холмом, под улицами и деревьями, под каменными домами и лачугами были пещеры, соединенные подземными ходами, из которых живым мог выбраться только посвященный. Несколько таких естественных пещер было расширено и продолжено бог знает в какие времена и чьими руками, от них направо и налево шли галереи с расходящимися вверх и вниз тоннелями и ходами, которые пересекались или уходили куда-то в сторону. Кое-где галереи круто обрывались вниз, настолько круто, что неосторожное падение в них могло стоить жизни, поскольку еще один этаж с такими же галереями, потайными ходами и пещерами находился на еще большей глубине. Большинство выходов из этого лабиринта обрушилось или было засыпано, однако три из них все еще сообщались с поверхностью и были искусно замаскированы. Когда-то в этих подземельях жили или спасались от невзгод люди – при свете на стенах можно было разглядеть рисунки, а над головой –

пятна копоти, оставленные кострами и факелами. Мальчишкой Абди-эфенди с двумя своими сверстниками подолгу окунался в этот мрачный мир, в тоннелях им попадались осколки битых горшков, ржавые наконечники стрел и истонченные заплесневелые кости. Тогда они не разбирались, кому они принадлежали – животным или людям, но однажды наткнулись на человеческий череп, рассыпавшийся раньше, чем они успели подняться на поверхность.

Абди-эфенди вспоминал это далекое время, но чаще думал о том, почему судьба так круто обошлась с ним в зрелые годы жизни. Как случилось, что он, почтенный человек, должен был как разбойник скрываться в тоннелях, да куда там до него разбойникам, те бы никогда не отважились прятаться в этом дьявольском лабиринте? И, спрашивая себя и сам себе давая ответы, он чувствовал, как замирает сердце в предчувствии конца и леденеет душа, примирившаяся, как ему казалось, с мыслью о смерти. Для убежища Абди-эфенди выбрал сухую нишу в скале, постелил одеяло из козьей шерсти и первые дни неподвижно лежал, не зная, день ли на дворе или ночь. В эти дни глаза его воспалились, начали слезиться, но прохлада и мрак понемного успокаивали резь. Писарь притрагивался к векам рукой, чтобы проверить, утихла ли боль, иногда даже от легкого прикосновения боль пронзала мозг насквозь, и тогда он сдавленно вскрикивал и облизывал пересохшие губы. Свечу он зажигал редко, только когда спускался глубоко под землю, все остальное время передвигался как слепой – держась за стены. Лабиринт жил своей особой жизнью, и постепенно Абди-эфенди научился чувствовать его ритм и по суете и писку летучих мышей узнавать о приближении ночи. Тогда он осторожно пробирался к одному из выходов, чаще всего к

тому, что вел в амфитеатр. Убедившись, что снаружи не доносится никаких звуков и не видно ни одного отблеска огня, что все вокруг спокойно, он выползал из укрытия, щурясь от слепящей тьмы, потому что в подземелье она была другой – неодолимой и безнадежной. Сжимая кинжал, Абди-эфенди отправлялся на встречу с одним из своих должников, запасался пищей и водой, узнавал о плохих новостях и, с трудом поворачивая язык, давал указания о том, что нужно предпринять. Он не говорил, где прячется, а ночью люди не могли разглядеть его пожелтевшее от вечного подземного мрака, опухшее лицо.

Узнав, когда Инану предстоит лишиться зрения, он сразу же понял, что в одиночку ему не удастся отбить сына, но все же отправился в обитель дервишей, не в силах сидеть сложа руки. Он решил, что убьет какого-нибудь дервиша или сам умрет и тем самым спутает планы паши. Но когда он услышал вопль сына, когда натолкнулся на стражников, оказалось, что в омертвевшей его душе еще теплилось что-то живое, и это живое было позорно трусливым, он бросился наутек, подгоняемый криком преследователей. Через час он пустил петуха в стоявший рядом с конаком заброшенный дом, а потом, пробравшись в тоннель, устроился в нише и провалился в долгий непробудный сон.

Проснулся он только к концу следующего дня, не зная, что делать дальше, но сразу же потянулся к мешку и принялся грызть кусок сухаря. Где-то капала вода, и, вслушиваясь в звон размеренно стекавших в лужу капель, он вдруг услышал, как хрустит сухарь на его зубах. Он перестал жевать и насторожился, с трудом проталкивая в горло сухой кусок, и впервые за много дней испытал жуткий страх перед тьмой. Ему почудилось, что он попал в пасть какого-то чудовища, что он кусок

в зубах жестокого и злобного страшилища, которое может в любой момент проглотить его и отправить в зловонную бездну. Сто́ит сомкнуться челюстям, и он навечно останется в тьме совсем один... Он здесь, а Инан где-то там, но оба они навсегда остались наедине с темнотой. Абди-эфенди покинул нишу и кинулся к выходу, инстинктивно перепрыгивая через лазы, соединяющие тоннели на разных уровнях. В полузарытой галерее пришлось ползти на животе, чудовище в любой момент могло наброситься на него, вдавить в землю или затянуть обратно, и он, извиваясь всем телом, раскапывал землю, не выпуская кинжала, а когда голова его показалась наружу, в двадцати метрах от входа он увидел Юсефа-пашу. „Вот он! Так я и знал!“ – подумал он, чувствуя, как бешено колотится от страха сердце, но мысль о возвращении была еще страшнее, и беглец ловко выбрался на поверхность.

Паша, не двигаясь, стоял к нему спиной. У Абди-эфенди, от страха и ненависти утратившего способность соображать, не было ни времени, ни сил, чтобы решать, пребывает ли паша в задумчивости или же следит за ним краем глаза; в голове билась лишь мысль о том, что он прижат к стенке и все пути для бегства отрезаны. Если бы они встретились в другом месте, если бы он утратил всякую надежду на спасение, писарь, наверное, бросил бы ему в лицо тяжелые обвинения и дерзкие оскорбления, но сейчас ему было не до разговора и взаимных объяснений. Медленно, затаив дыхание, он наполовину прошел расстояние, отделявшее его от паши. Потом, вздрогнув от сознания безысходности положения, он пригнулся, выставил кинжал вперед и, стремительно подбежав к паше, вогнал ему в спину кинжал по самую рукоятку.

Паша захрипел и стал ничком оседать, Абди-эфен-

ди повалился на него, и в ту секунду, пока оба падали, он вдруг очнулся от оцепенения, вызванного пережитым ужасом. „Все, теперь тебе конец!“ – зазвучал в его ушах голос, рожденный годами службы и повиновения. По закону за любое неосторожное прикосновение к эмиру виновный лишался десницы. А тут дело касалось посланца самого султана! Как ни ненавидел его Абди-эфенди, как бы ни желал его гибели, он и думать не смел о том, чтобы поднять на него руку.

– Эй, паша! Паша-эфенди! – позвал он, слегка дотронувшись до головы несчастного. Голова откинулась, и изо рта хлынула струя густой крови. И пока радость мщения боролась с привычным для писаря страхом, раздался в ушах все тот же голос: „Прячь тело! Спасайся!“

Абди-эфенди спрятал кинжал, засунул зеленую чалму в пояс паши и потащил труп в тоннель. Голова паши билась о комья священной земли, писарь пыхтел от натуги, ноги его скользили, чувяки от и дело падали, и писарь слишком поздно услышал скрип подъехавшей повозки. Она была запряжена брыкливым мулом, к которому жался в сумерках большеголовый селянин, тот самый поп, что подбивал других не выходить на повинность. Абди-эфенди был с ним знаком и даже как-то заходил к нему во двор испить водицы. „Нашел время, свинья, ковыряться в земле! Он все видел! Это конец!“ – молнией сверкнула мысль, и, бросив ноги паши, он обнажил кинжал. Но нужно было поступить хитрее, так как поп, почуяв неладное, быстро загородился животным и, глядя поверх его спины, пробормотал:

– Не надо, эфенди! Я только…

Однако Абди-эфенди, не слушая оправданий, стал обходить мула, поп попятился в обратную сторону, и, поменявшись местами, они уставились друг на друга,

разделяемые костлявой спиной животного. Внезапно писарь, сообразив, больно кольнул мула кинжалом, телега прокатилась между ним и попом, и не успел большеголовый побежать следом, как эфенди насел на него сзади. Гяур оказался ловким и крепким, оружие полетело в сторону, и они, сплетаясь в клубок, покатились за ним следом и одновременно схватились за кинжал, только поп схватил рукоятку всей ладонью, а Абди-эфенди досталась ее самая малость рядом с острым лезвием, и ему было несподручно ни стиснуть ее, ни попытаться вырвать у противника. Он решил разжать его пальцы другой рукой, ослабил хватку, и, воспользовавшись этим, противник моментально подмял его под себя. В нормальных условиях правоверные чисто выбривали головы, но в подземелье на макушке у Абди-эфенди отросла длинная щетина, и, вцепившись в нее, поп резко вывернул ему шею. Абди-эфенди почувствовал, как в горло уперлось теплое ребро попа, сделал усилие, чтобы освободиться от него, но страшная боль пронзила всю руку до самого плеча, и она бессильно упала на землю.

– Погоди, поп… – простонал он, но большеголовый расслышал хруст сухожили и костей и понял, что писарь отрезал себе пол-ладони. Если оставить его в живых, пощады не будет! Морщась, поп крутанул кинжал. Абди-эфенди немного посучил ногами и затих.

Потом, вернувшись домой, поп долго замаливал случайный свой грех. А тогда он быстро подтащил труп паши к телу Абди-эфенди и бросил кинжал так, чтобы он лег между ними. Затем, шепотом уговаривая мула, он подогнал свою повозку и засыпал их привезенной землей. Притоптав кучу, он раскидал вокруг землю захваченной из дому лопатой и погнал мула через темное поле. В эту первую ночь после пожара у остав-

шихся без имущества и крова жителей холма было слишком много забот, и если кто и заметил поздно возвращавшегося с работ селянина, то никто не запомнил его и, к счастью, никто не вспоминал и потом, когда заговорили о том, чем кончилось богоугодное дело Юсефа-паши.

XIV

Давуд-ага скрывал внезапное исчезновение хозяина только до утра. Еще ночью он понял, что случилось что-то недоброе, встревоженно захромал по конаку, но только с Фадилом-Беше поделился своими опасениями. Он послал его в обитель дервишей, потом к янычарам, но стражник вернулся ни с чем. На рассвете, закусывая от боли усы, он вскочил на коня и сам обыскал весь холм. Народ уже трудился на засыпке варварских развалин, в мечети громко перекликались плотники, на пепелищах и улицах следов паши открыть не удалось. Давуд-ага поскакал к Элхаджу Йомеру, но сердар не принял его, янычары, будто назло, беззаботно веселились во дворе. Досадуя на бесплодность усилий, Давуд-ага растерялся, не зная, что предпринять. Ворота казармы распахнулись, на улице показалась группа янычар, по-двое несущих привязанные к шестам туши забитых баранов. Впереди с саблей наголо щеголевато шагал офицер. Давуд-ага торопливо спешился и прижался к забору, чтобы случайно не оказаться на пути несущих мясо янычар, ибо тогда его бы не спас от виселицы и сам Юсеф-паша.

Ворота закрылись со звонким треском, прозвучавшим в ушах Давуда-аги пощечиной, и он, оберегая ушибленную ногу, снова вскарабкался в седло.

За два дня Давуд-ага побывал во всех бейских поместьях, обыскал центр города, расспрашивал всех встречных, тщетно пытаясь отыскать следы своего господина. А на третий день по двору конака рассыпалась новая стража. Во главе ее прибыл новый мубашир, посланец счастливой столицы падишаха, который привез фирман для Юсефа-паши. В нем паше высказывалась благодарность за вдохновенное усердие, троекратно восхвалялась его любовь к престолу и религии, и сообщалось что ему дарована шуба из драгоценных соболей, хотя вот уже три месяца как над всей территорией империи нещадно палило солнце. В конце указывалось, что по прочтении фирмана Юсефу-паше надлежит живым и невредимым вернуться в столицу, где его ждут важные дела.

Посланец привез и еще один фирман. В нем говорилось, что в столицу надлежало вернуться только голове Юсефа-паши, а тело похоронить на месте с соблюдением всех требований религии и обычаев. Говорилось там и в чем он провинился – многозначительно и туманно, так что простой человек не сумел бы ничего понять, но будь Юсеф-паша жив, он понял бы. В фирмане упоминалось о какой-то границе между небом и землей, о награде душе за благочестивые труды, которая на весах всевышнего весит больше, нежели все земные наказания... Тот, кто сочинял текст фирмана до того, как великий визирь скрепил его султанской печатью, ухитрился избежать таких простых слов, как „рис“, „урожай“ или „голод“, хотя гонец Нуман-бея доложил все так, и тому, кому следовало. Фирман заканчивался обычными словами: „Такова моя воля, подтверждаемая этим священным фирманом“.

Давуд-ага встретил гостей у караулки и коротко, как и подобает воину, доложил обстановку. Услышав,

что Юсеф-паша вот уже два дня как исчез, новый мубашир окаменел в седле от злости и страха, ибо его лишали возможности исполнить приказ, а за это пришлось бы платить собственной головой. Не сходя на землю, он скомандовал своим людям, и те поволокли Давудаагу в подвал. Там его обыскали, отобрали намотанный на поясе шнурок с серебряными крючками и напрасно промучили до обеда, хотя было ясно, что он говорит правду и действительно ничего не знает о своем хозяине. Тогда один из допрашивающих затянул петлю на шнурке из конского волоса. Ему показалось странным, что досточтимый ага не оказал отчаянного сопротивления, а добровольно сунул голову и как-то даже любовно поправил шнурок на голой шее, как будто его ждали ласки, а не смерть. Его повесили тут же, на поперечной балке. В подвале с зарешеченными оконцами стоял сильный сквозняк, жилистое тело Давуда-аги покачивалось на шнурке, и серебряные крючки, соприкасаясь, издавали нежный мелодичный звон, отдаленно напоминавший ласковое ржание.

Через час Фадилу-Беше приказали снять казненного, приготовить к отправке голову, а останки похоронить. Повторялось то, что не раз случалось и в прошлом. Давуд-ага всегда шел впереди своего хозяина, чтобы выполнить трудную работу, подобно клинку в решительной руке. Вот и теперь, обезображенной до неузнаваемости, голове его предстояло проделать нелегкий путь в столицу вместо головы Юсефа-паши, а мертвому Давуду-аге – выполнить этот последний, никем не предусматривавшийся долг. Фадил-Беше обмотался шнурком из конского волоса так, как это делал Давудага, но, проходя вечером мимо заполненного землей амфитеатра, он вдруг испугался, что шнурок этот принесет ему несчастье, и, раскрутив его над головой, за-

бросил как можно дальше. Народ затоптал потом его в грязь, сверху лег слой мусора, позднее все это занесло землей, на которой выросла трава, а потом потянулись ввысь кусты и деревья, и через несколько веков от конских волос не осталось и следа, они сгнили рядом с костями Абди-эфенди и Юсефа-паши.

Фадил-Беше остановился, привлеченный шумом, доносившимся со двора мечети Шарахдар. После полудня тот самый имам, что осмелился возразить паше насчет Кючука Мустафы, собрал служителей других мечетей, чтобы всем вместе проклясть оскверненный храм. За ними увязалась толпа правоверных, которые теперь пинками разгоняли плотников, и Фадил-Беше бросился им на помощь. Не успели плотники закончить работу, не успел каменотес высечь священный знак над темно-серой аркой свода. Хотя мастера и постарались, мечеть Шарахдар быстро пришла в упадок, крыша продырявилась, стены оголились, и никто не смел входить в заросший бурьяном двор, кроме Инана, оставшегося жить с дервишами в их обители. Осторожно передвигаясь и поминутно постукивая палкой, он приходил сюда в погожие дни, садился на траву в тени минарета, на который ему так и не суждено было подняться, и ждал небесного просветления, озарившего его в ночь последней беседы с Юсефом-пашой. Подолгу читая молитвы и повторяя бесконечное число раз имена всевышнего, он чувствовал, как душа его взмывает ввысь, как открываются ему земные и небесные истины, и после такого припадка он горячо благодарил всевышнего. В такие минуты люди старались не слушать невнятного бормотания потерявшего рассудок старика, боясь накликать на себя беду, и обходили развалины далеко стороной. А в год смерти Инана над холмом пронеслась невиданная ранее буря. Она оставила после себя огром-

ные опустошения, и поначалу обитатели холма даже не заметили, что она повалила и минарет, рухнувший на старую постройку, как бы окончательно перечеркивая ее.

Поздней осенью того же года, когда душа Юсефа-паши любовно воспарила над холмом, а тело успокоилось в его земле, сюда прибыл новый правитель области, и жизнь еще долго продолжалась по-старому. Участок земли на краю холма был ровный и надежно укрепленный стеной, к нему вела широкая улица, но не было у него хозяина. И прежде чем кому-то пришла в голову мысль прибрать его к рукам, Нуман-бей отправился к новому правителю и принялся толковать о том, что земля эта, по сути дела, является его собственным полем, самым плодородным, которое гяуров заставили перетащить на холм, и поскольку его гяуры в то лето таскали по повинности землю, вместо того чтобы убирать его поля, то с какой стороны ни посмотреть, теперь эта земля должна принадлежать ему, что и надо бы оформить по закону. Визирь согласно кивнул новому главному писарю, и тот составил крепостной акт на имя Нуман-бея.

XV

Бей спрятал документ, но место продолжало оставаться пустырем, и только когда бей насмерть разбился, свалившись с коня, его наследник не спеша распродал участки разным людям, в основном сыновьям тех, кто таскал сюдя землю. Многие из них не знали, какую работу проделали на холме их отцы, которым не раз приходилось отрабатывать разные повинности и страдать и которые поэтому не рассказывали и не вспоми-

нали об этом. Волна за волной жители сёл в поисках лучшей доли селились на холме. Никто не помнил о том, что четыре или пять поколений назад их деды бежали с него, спасаясь от кровавого нашествия. Новоявленные горожане привыкали к новому месту быстро, как будто и родились здесь.

На краю холма поднялись дома, обнесенные высокими оградами, хозяева засадили дворики виноградной лозой и смоковницами, улицы и тропинки между домами замостили, поставили церквушку там, где духовному взору Юсефа-паши мерещилась гробница Мустафы, прилепили к церквушке две комнатки для школы, так как подрастали дети, у которых трудились здесь зрячие отцы. Заборы и дома дружно грудились на тесном клочке земли, но когда солнце по утрам согревало его, алые крыши и зеленая листва напоминали нераспустившийся цветок, которому суждено цветение и благодать. Чередовались беды и радости, но мало-помалу добро начинало перевешивать на капризных весах времени, на смену одним людям приходили другие, новыми заботами и мыслями полнились их души, но спроси их, и каждый бы сказал, что земля, на которой они рождались и умирали, создана богом, как и сам холм и вся земля под небом.

ПРОКЛЯТАЯ ЗЕМЛЯ
Димитр Кирков

Редактор болгарского текста *Елизар Декало*
Редактор перевода *Наталья Дюлгерова*
Художник *Текла Алексиева*
Технический редактор *Донка Алфандари*
Корректор *Елена Пенкова*

Формат 54x84/16. Печ. листов 10, 2,5

Государственная типография „Балкан“
31/23231/5605-261-89

БИБЛИОТЕКА • БОЛГАРИЯ •

ББ

СОФИЯ ПРЕСС